

10337

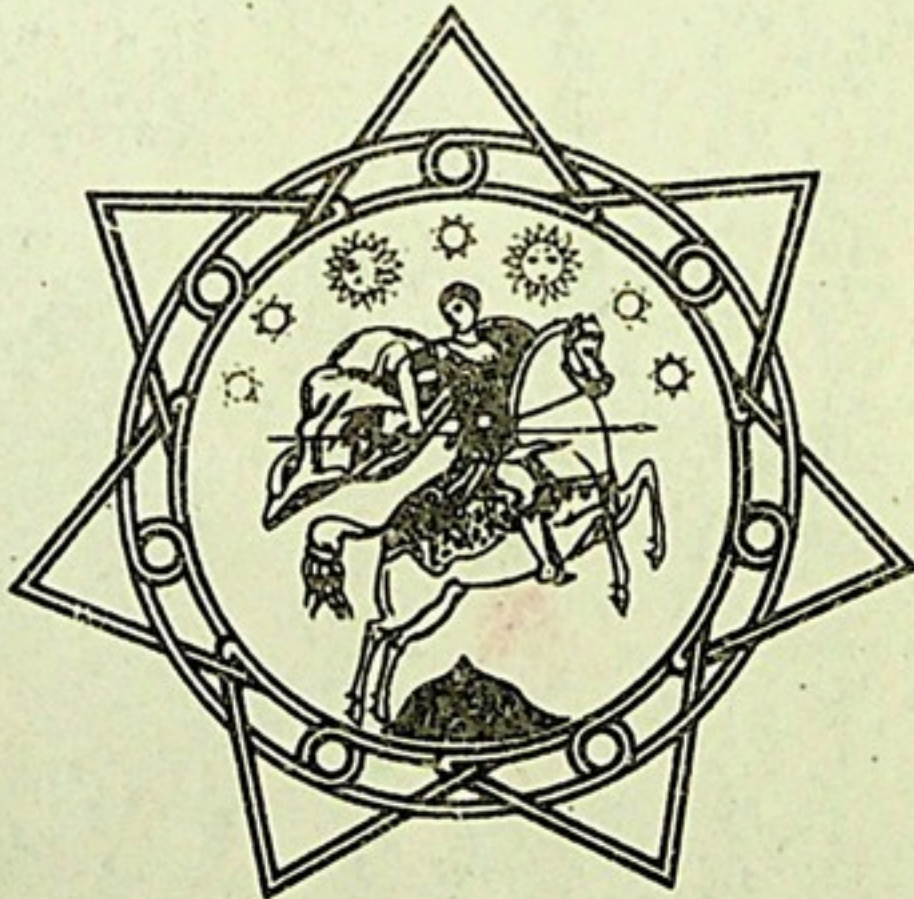
1992/3

საქართველოს  
საბჭოთავო  
კულტურის მინისტრო  
ISSN 0130-3600

Л

1992

# ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ



8



1992

# ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ



ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Орган Союза писателей Грузии

## СОДЕРЖАНИЕ

### ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

- ДЖАНСУГ ЧАРКВИАНИ. Стихи. Перевод  
Владимира Саришвили . . . . . 3
- ДЖАБА ИОСЕЛИАНИ. Санитарный поезд.  
Повесть. Перевод Игоря Калашьяна  
и Юрия Чейшвили . . . . . 5
- МЕРАБ НИНИДЗЕ. Жизнь, сад и Райнер  
(Из записок Дапертутто) . . . . . 143

### КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

- ГУРАМ КАНКАВА. Поэзия красок . . . . . 150
- НАТАН БААЗОВ. Подражание Гейне . . . . . 173
- НАТЭЛА ЭБАНОИДЗЕ. «Простой души ча-  
рующие звуки» . . . . . 178

### ПУБЛИЦИСТИКА

- ШОТА НИШНИАНИДЗЕ. Несколько слов о  
книге и о дне сегодняшнем . . . . . 183

8

Издательство «Самшобло», Тбилиси  
Журнал выходит с июня 1957 года

## ПОЛИТИКА

- 31 июля 1992 года . . . . . 194  
Манифест Госсовета Республики Грузия . . . 195  
Памятная записка: О событиях в Абхазской  
Автономной Республике . . . . . 199

## КОНТАКТЫ

- НОННА ЭЛИЗБАРАШВИЛИ.** Немецкие худо-  
жники в Грузии (XIX—начало XX вв.) . 204

## ДОКУМЕНТЫ, ПИСЬМА, ВОСПОМИНАНИЯ

- РЕВАЗ ТВАРАДЗЕ.** Отца Пачкориа и его дру-  
зья . . . . . 215

## Уход

Мы приголубить не смогли  
Цветов, по осени желтеющих.  
Родная! Старость на порог  
Вползет, оскалившись, ощерившись,

И заскулит нам песнь свою,  
Давно осипшая, согбенная,  
О том, что близится к концу.  
Стезя забот, дорога брeнная.

Свеча поддержит нас в пути,  
Холм одолели. Час прощания.  
Мне — за грядущим, мне — в лучший мир,  
Тебе — недолгие стенания.

## Возвращение

С горы Масличной я бреду назад,  
У входа в храм внимаю гласу свыше:  
«Нельзя молчать»... Пусть мертвые  
молчат,  
А я скажу. О Господи, Ты слышишь?

Лишь Истина мной правила в пути,  
Тебе служил и ближнему бессрочно,  
Что накопил — всем сразу по горсти:  
Снов, миражей, цветной расшитых  
строчкой.

Браслеты золотые и теперь  
Мне кажутся стальными обручами,  
Впитали соль дары моих потерь,  
И чаны полны мшистыми камнями



# САНИТАРНЫЙ ПОЕЗД

## ПОВЕСТЬ

В Ростове поезд стоял двое суток. На дворе был март. Впереди, совсем близко, в Донской и Кубанской областях шли бои между большевиками и корниловцами. По станции вдруг начинали метаться встревоженные пассажиры, бежали то в одну, то в другую сторону. Потом их словно ветром сдувало с платформы, они набивались в зал ожидания. Вокруг было полно солдат, в самых неожиданных местах стояли часовые, вдруг откуда-то катили пулемет, грубыми громкими голосами отдавали нелепые распоряжения. Ненадолго словно бы украдкой выглядывало солнце, народ высыпал на платформу, обрадованные люди утешали друг друга. Потом неожиданно набегали тучи, поднимался ветер, плакали перепуганные дети.

Среди грузин царило беспокойство, мужчины не находили себе места, женщины стояли у окон. Заметно поскучнели даже самые веселые и беспечные пассажиры.

Перед отправкой из Ростова от санитарного состава отцепили несколько вагонов. Пассажирам пришлось потесниться. Купе, которое госпожа Шуня заняла под кухню, и другое, возле уборной, которое заменяло походную ванную, были ликвидированы вместе с тазами и «буржуйкой» и заполнились знакомыми лицами. «Говорил я, располагайтесь просторнее, занимайте все купе, не послушались, не хотели хорошей жизни. Конечно же, они увидели, что столько свободных мест, и отняли», — ворчал Варден. «Им понадобилось, вот и отняли», — отметил Чкония.

Окончание. Начало см. в № 7.



— Нет, это не совсем так. У нас разрешение из Петрограда, и потом не такие уж они бессердечные люди, вы же видите, нас не трогают, с женщинами вежливы, не правда ли, господин Ираклий?

То ли после истории с оружием Ираклию было стыдно, то ли он считал ниже своего достоинства вникать в бытовые мелочи, он в основном молчал. Больше лежал, держа в руках книгу. Но не упускал случая вызвать на разговор Арадэли, с которым он каждый раз яростно спорил. Бывший кумир был развенчан, Ираклий невзлюбил его и, к удивлению многих, отзывался о нем с откровенной неприязнью.

С тех пор как Квиникадзе потерял саквояж с медицинскими инструментами, он переселился к Ишхнели, в своем вагоне он только спал. Никто его не беспокоил, людям было не до болезней. Он забросил и административные дела (все равно его никто ни о чем не спрашивал). С Варденом у него возобновились прежние отношения.

Чем ближе было к Кавказу, тем дорога становилась труднее, тем большее нетерпение проявляли пассажиры, нервно реагируя на каждую задержку и обвиняя в беспечности и незнании машиниста и стрелочника. В отличие от других госпожа Шуния выглядела довольной. Она была ласкова с Ираклием, входящих в купе приглашала сыграть в карты. Но все отказывались под благовидным предлогом. Ираклий тоже холодно отказался. Нино хлопотала по хозяйству, что-то прибирала, перекладывала. Арадэли где-то гулял. Буцхрикидзе слонялся по своим многочисленным знакомым. Квиникадзе стал, как и встарь, рассеян, и госпожа Шуния сама не хотела с ним играть. В конце концов она уговорила своего верного партнера Чкония и вместе со вновь переселившимся из другого вагона студентом втроем они с утра до ночи играли в «подкидного дурачка».

Нино заметно похудела, на бледном лице печалью светились большие глаза. От разговора у окна в памяти у нее остался обрывок фразы: «Моя милая». Есть вещи, которым нет названия и которые безотказно действуют в своей стихии, они не подчинены никаким внешним обстоятельствам. Но достаточно выразить их в словах, как возникает множество противо-

речий: возникает необходимость сравнений, альтернатив, определений, узаконения или отрицания. Может, если бы не была произнесена эта фраза, отрезвления не наступило. «Какое легкомыслие! Замужняя женщина, и бежать по первому же зову...» Она решила избегать Валико, вести себя с ним построже. И себя наказывать, изгнать из памяти то мгновенное забытие, остудить подступавшую изнутри страсть, восстановить свое душевное равновесие. «Моя Кети, моя дорогая Кетеван», — повторяла она про себя, думая о дочери и искусственно раздувая в себе тоску по ней. Про себя она с радостью отмечала, как иссякал поток чувств, до той поры неумемных, но подавленных этими словами. Затем она вновь пыталась вызвать знакомое чувство, когда во всем ее существо разливалось тепло, постепенно завладевало ею, заставляя болезненно волноваться, тогда она зарывалась лицом в подушку и так, чтоб было слышно ей одной, бормотала: «Кети, доченька, моя маленькая Кетеван».

Валико интуитивно чувствовал настроение Нино и всякое проявление настойчивости считал унижительным и для нее и для себя. Он боялся, как бы какое-нибудь необдуманное действие с его стороны не было расценено как использование момента. Правда, он знал, что Нино никогда не обвинит его ни в чем подобном, но все равно счел за лучшее не попадаться ей на глаза. Ему тоже требовалось время для того, чтоб разобраться и остудить свои страсти. К Ишхнели он не ходил, но на каждый скрип двери оборачивался — надеялся хоть мельком увидеть Нино. Днем он все время пребывал в волнующем ожидании, и только ночь приносила ему блаженные минуты. Ночью он мог спокойно, по-новому осмыслить свое прошлое. Порой начинало щемить сердце, вновь вставали перед ним мучавшие его прежде вопросы о бесцельности будущего. Но он отгонял их мыслями о Нино и тонул в таком блаженном дурмане, что утром ему не хотелось просыпаться.

...Когда Буцхрикидзе не было поблизости, Квиникадзе поминутно спрашивал у соседей:

— Как вы думаете, когда мы будем на Кавказе? Никто не давал удовлетворительного ответа на



этом вопросе, и он в ожидании Буцхрикидзе бегал от одного окна к другому.

Квиникадзе учился в шестом классе гимназии, когда у него в один день погибли отец с матерью. Они на лошадях ехали в Кутаиси на свадьбу, и их накрыл оползень. Несчастных так и не смогли отыскать. Не было ни похорон, ни традиционного оплакивания. Ребенок не помнил их ни живыми, ни мертвыми — «Они ушли и никогда не вернутся». Жестокий смысл этих слов стал недостижимым для выросшего в холе мальчика. Было невозможно поверить в то, что враз исчезли уют, тепло, веселье и уважительное отношение друг к другу. В первое время ему казалось, что вокруг огромное пустое пространство, в котором не на чем задержать взгляд, пустота давила, обступала со всех сторон, вгоняла в лихорадку. Он ничего не слышал, кроме своего отчаянного возгласа, оцепеневший в каком-то вечном безмолвии. В доме Лебанидзе, где его приютили, он ни с кем не делился своим горем: все равно он никому ничего не смог бы объяснить толком, а жалость была оскорбительна для памяти родителей. С тех пор прошло немало времени. Потихоньку время накладывало свой отпечаток на прошлое, порой у него даже появлялись мысли о смерти, он считал, что достаточно пожил на этой земле. То детское горе и тревога трансформировались в беспредельный страх перед жизнью.

— Прочти-ка, ради Бога, эту надпись на могиле и скажи мне, кем приходились друг другу эти два покойника, — всучив в руки Квиникадзе клочок бумаги, попросил его Варден, при этом подмигнув сидящему неподалеку студенту.

У Квиникадзе было слабое зрение, очки всегда были при нем, но он их не носил, полагая, что это явление чисто нервного порядка и временное.

Он уткнулся носом в каракули на бумаге и громко прочел: «Здесь похоронены муж с женой, сестра с братом, теща со свекром». Слегка озадаченный, он с упреком посмотрел на Вардена и с отвращением отбросил бумагу.

— Каков наш доктор, а? — хлопнув студента по плечу, захохотал Буцхрикидзе, — ровно дитя...

— Все мы дети, взросление — это надуманная чушь, — раздав карты, проговорила госпожа Шуня.

Вместо ответа Буцхрикидзе, изумленно взглянув поочередно на Чкония, госпожу Шуню и доктора, весь затрясся от смеха.

— Это действительно так, в воспоминаниях о прошлом выражается элегическое отношение к нему, — сказал, покраснев, Квиникадзе.

Все молчали. Варден понял, что хохот его был бестактен. Он замолчал и снова поочередно оглядел всех.

— Я не знаю, что это за отношение такое, но вот что этот студент пока ребенок, это я знаю точно, не так ли, сынок?

— Разве есть ребенок, который считал бы себя ребенком? — опередила студента госпожа Шуня. — А государство, армия, погоны, чины и медали разве не те же игрушки, как, скажем, мяч, жмурки, игра в казаки-разбойники?

Все засмеялись.

Станция Кавказская встретила их дарами все еще богатого кубанского края: желтыми, как янтарь, вареными курочками, свежим хлебом домашней выпечки, разными соленьями, ветчиной. Изголодавшийся люд с поезда пузырьками кипящей воды окружил импровизированный базар. В нескольких местах подозрительными кучками собрались мужчины — в воздухе пахло выпивкой. Хищник спит гораздо дольше чем его жертва. На поиски еды заяц выходит намного раньше, чем волк. Внезапно на станции появилась группа солдат, которая стала гнать торгующих женщин, инвалидов, стариков. Пассажиры покинули платформу. У одного одорукого торговца, рассуждавшего о справедливости, свободе торговли и естественных потребностях и даже упомянувшего Ленина, отняли ведро соленых огурцов, которое тут же высыпали в угольную кучу, а его самого прогнали вназад. Опомившись, он попросил свое ведро обратно, но его не стали даже слушать. Все вокруг как-то внезапно стихло. Мимо поезда к вокзалу и обратно ходили какие-то молодые мужчины в одежде полувоенного образца.

Санитарному поезду № 113 было объявлено, что дальше его не пропустят.

Захария Авалишвили вместе с руководителями грузинской эвакуационной группы отыскал Квиникадзе и попросил доктора вместе с книгой, где были зарегистрированы больные, пойти с ними. Доктор отказался, беспомощно поводя глазами в надежде отыскать заступника.

— Местная власть не против того, чтоб мы связались с Екатеринодаром, там их центр. И если Екатеринодар даст разрешение — нас пропустят. Идемте, доктор, ведь ваше присутствие что-нибудь да значит! Все-таки вы доктор, — говорил стоящий рядом с Авалишвили грузин с седыми усами в черной чохе.

— Я все же считаю, господин Захария, будет лучше, если мы подождем, — вмешался в разговор Арадэли.

— А чего ждать? Мы столько проехали, а теперь у самого Кавкасиониди сидеть сложа руки? — обиделся мужчина в чохе.

— Помимо разрешения из Смольного, нам нужна и книга регистрации больных. Ожидание ничего не даст. Мы должны попытаться что-нибудь предпринять, а там будь что будет, — сказал Авалишвили.

— Я думаю, не надо лишний раз напоминать о себе, в такое время оборудованный санитарный поезд с обслуживающим персоналом — находка для них, — сделал еще одну попытку Арадэли, но, поняв, что его советы никому не нужны, отошел.

Санитарный поезд перевели на заржавленный запасной путь. Когда отцепленный паровоз загудел на прощанье пассажирам, все поняли, что стоять тут придется самое меньшее целую ночь.

Пассажиры поезда задвигались, далеко уходить никто не смел.

Выйдя из вагона, Нино наткнулась на Арадэли. Оба в смущении остановились, не смея посмотреть друг другу в глаза, затем Арадэли несмело протянул Нино руку. Они повернули было опять к вагону, но, взглянув украдкой на окна и свесившихся пассажиров, предпочли пойти в сторону вокзала. Перейдя полотно дороги, они, взявшись за руки, побежали, словно кто-то за ними гнался. Порой Валико останавливался и в растерянности оглядывался, Нино вопрошительно взглядывала на него, и они бежали дальше.

Вокруг не было ни души. Сразу за вокзалом начинался пустырь. Внезапно они очутились перед каким-то заброшенным сараем. Валико медленно и осторожно приоткрыл дверь и заглянул туда. При свете, проникавшем сквозь щели прохудившейся крыши, он достаточно ясно разглядел пустое помещение. Пахло керосином. Они остановились, растерянные и смущенные, стараясь совладать с тяжелым дыханием. Вокруг стояла мертвая тишина. Что им здесь надо было, зачем они бежали сломя голову? Валико дрожащими руками обнял Нино, и они приникли друг к другу.

— Руки вверх! — вдруг словно грянул гром с ясного неба, и из-за сваленных в кучу ящиков выскочил парень с винтовкой в руках, лет семнадцати-восемнадцати, с худощавым прыщавым лицом.

— А ну-ка назад! — заорал он.

Всегда в минуты реальной опасности Валико овладевало спокойствие, а мозг начинал работать с математической четкостью. Но сейчас кровь бросилась ему в голову, он чувствовал себя беспомощным, отчаяние охватило его. Он вновь вспомнил выброшенный из окна поезда револьвер, вновь, уже как насмешка, донесся до него глухой стук, когда он упал на землю. «Откуда взялся тут этот ублюдок? Кто он, часовой или просто бандит? Следил за нами или обнаружил случайно?»

— Что вы тут делаете, а? — с кривой улыбкой спросил тот, целясь в Валико. Затем взглянул на окаменевшую Нино.

Намерение, которое прочел Валико в его мутноватых желтых глазах, и решило все. Валико стремительно, как кошка, прыгнул вперед, схватился за дуло ружья и рванул его на себя, парень упал, и Валико вцепился ему в горло. В бешенстве он стискивал его шею, но пальцы не подчинялись ему, чем больше он стискивал, тем более бессильными и немыми казались они ему, он был словно во сне. «Оставь, ты задушишь его!» — услышал он крик Нино, поднялся, выбросил из винтовки затвор, решив спрятать его в карман, но, взглянув на парня с выкаченными глазами и высунутым языком, бросил его там же на землю. Затем схватил Нино за руку, и они бросились бежать.

Пассажиры санитарного поезда заволновались, сгрудившись у окна вагонов и на ступеньках, они с любопытством смотрели на Валико и Нино, которые, беззастенчиво обнявшись, шли к поезду. Это было неслыханное дело, чтоб в присутствии родственников и знакомых замужняя дама с незапятнанной репутацией вела себя столь неприлично.

Нино вся дрожала, зубы у нее стучали, от слабости она еле передвигала ноги. У дверей купе их встретили Буцхрикидзе и доктор. Доктор что-то пробормотал, не зная куда отвести взгляд, и ушел. Буцхрикидзе же, как выяснилось, никуда не собирался уходить, а, напротив, пытался прояснить ситуацию. Но Валико, сверкнув на него глазами, закрыл перед его носом дверь. Нино трясло, как в ознобе, и большие надежные руки, обнимавшие ее, давали ей утешение, радость, смешанную с горечью, которую испытывает обиженный ребенок, ласкаясь к матери. Ее вырвало, Валико дал ей умыться, уложил, прикрыл ноги пледом. И сел рядом, положив ладонь на ее пылающий лоб. Так сидели они долго.

Буцхрикидзе принес новость. На вокзал прибыл поезд, и в одной из теплушек находятся грузины, едущие с фронта, те самые, которых в Петербурге думали объединить в иверский полк.

Варден кожей чувствовал, что приближается какая-то беда. Нельзя было больше рассчитывать на этот замерший санитарный поезд, хотя бы потому, что эта нарядная, благополучная публика привлекала к себе пристальное внимание. Что у меня с ними общего, пытался убедить себя Варден, изыскивая возможность что-либо предпринять. Он несколько раз вошел в вагон к грузинам-солдатам, осмотрелся. Нашел там одного вольного крестьянина из Парцханакан, расспросил земляка. Затем сыграл в карты с неким мохевцем, который выглядел там самым авторитетным, нарочно проиграл ему сапоги. Среди грузин оказалось и несколько военных-азербайджанцев. Они были посланы, чтоб раздобыть бронированные автомобили для Кавказского фронта, но теперь сами не знали, в какой армии они служат. Они казались напуганными в этой компании абсолютно неуправляемых и воспрянувших духом солдат. Один из них, оставшись наеди-

не с Варденом, попросил подыскать ему место в санитарном поезде. Он прилично изъяснялся по-русски, наверное, был офицером. Приняв важный вид, Варден дал понять, что без него этот вопрос решить будет невозможно. Впрочем, ничем не обнадежил офицера, хотя и не отказал. Но сам не стал медлить. Он тут же на вокзале обменял на спирт пиджак своего тестя и с грузинской беспечностью тут же организовал небольшую пирушку, на которую созвал наиболее влиятельных людей из теплушки. Потом побежал в санитарный поезд, уговорил доктора перебраться к солдатам, тут же схватил под мышку свои сокровища и, ничего не объясняя доктору, приволок его, совершенно растерянного, в теплушку.

Грузины встретили его возгласами: «Куда ты запропастился, мы уже было искать тебя собрались».

— Здравствуйте, — едва выдавил из себя Квиникадзе.

— Будь здоров! — приветствовал его подвыпивший тамада. — А ну, налейте ему стаканчик!

— Не-не-не-не, он не пьет, — сказал Варден, ведя доктора в угол вагона. Раздвинув лежащих на полу, он устроил его в уголке возле своих сокровищ, а сам присоединился к пирующим.

— Что значит не пьет, он болен? — спросил один из них, стоя со стаканом в руке. На нем была синяя ситцевая блуза, перехваченная тесьмой. Варден расхохотался, хлопнув по плечу сидящего рядом с ним мтиульца и всем своим видом показывая, что понимает шутки.

Шутник, выпятив грудь, обратился к собутыльникам: — Как дойду до половины стакана, остановите, а то как бы не поперхнуться.

— Ты смотри, что выдумал, а ну, давай сюда, — вмещался высоченный детина и схватил стакан. — Этой водочке меня не свалить!

— Отвяжись, браток, чего пристал!

— Эге! — угрожающе повысил голос тамада. Увидев, что его вмещательство подействовало на буянов, не стал пускать в ход кулаки и опустил руку. — Это не водочка, а спирт.

— Что делать, старая привычка! — смущенно пробормотал верзила.

— Пей, всем хватит, — обратился тамада к стоящему. Тот опрокинул в себя содержимое стакана, зажмурился, как кот, нежащийся на солнышке, и произнес: — Нет, братцы, что ни говори, а хороша у русских водка и еще... — и, назвав известный женский орган, с самодовольной улыбкой уселся в круг собутельников.

— Ты что, образина, совсем стыд потерял! — снова вмешался тамада.

— Ладно, прекрати! — раздалось со всех сторон. Общий шум перекрыла реплика Буцхрикидзе:

— Ты что, невинный ягненок?

— Меня называли племенным жеребцом! — неожиданно смягчившись, самодовольно расхохотался тамада. — Будь моя воля, я бы насовсем остался здесь. — И вдруг, загрустив, продолжил: — К престольному празднику хотелось бы поспеть домой, раскурить родную трубочку. — Испугавшись, что окружающие сочтут это недостойной слабостью, тамада пробуравил их острым взглядом, ударил себя кулаком в грудь со словами: — Мужчинский я человек! — и снова разразился диким хохотом.

Вскоре все захмелели, один затянул песню, но подхватил ее только Буцхрикидзе, глазами и жестами прося остальных присоединиться, но безуспешно. Песня вскоре заглохла. «Мужчинский человек» усмехнулся, собираясь ругнуть незадачливых певцов, но Буцхрикидзе отвлек его просьбой сплясать горский танец. Давай, давай, у тебя прекрасно получается, не отставал Буцхрикидзе, как будто ему доводилось видеть, как пляшет тамада. Видя, что и остальные не прочь поглядеть, «мужчинский человек» поднялся, улыбаясь, сперва вроде отказываясь, но потом, сверкнув глазами, опустился на одно колено, захлопал в ладоши и запел:

Милая, любишь ли ты меня,  
Милая, любишь ли ты меня,  
И тебе радость, и мне радость,  
Любишь ли ты меня...

Дальше он, видимо, слов не помнил и продолжал бешено хлопать в ладоши, но никто не выходил тан-

цевать. Пытаясь преодолеть возникшую неловкость, Варден неумело вскидывал и опускал руки, не попадая в такт.—Мух гоняет, мух, обормот! — хохотал «мужчинский человек».

По вагону целый день шатались пьяные. Верзила невзначай наступил на руку офицеру, который, беспечно развалившись на шинели, все время спал. Офицер продрал глаза, дал здоровенного пинка своему обидчику, так что верзила отлетел в другой конец вагона, после чего тут же снова захрапел. На мгновение вагон притих. Верзила медленно поднялся на ноги, неуверенно приблизился к спящему, растерянно оглянулся, ища поддержки, но, видя, что все избегают возможного скандала и даже «мужчинский человек» не глядит в его сторону, беспомощно пожал плечами и проговорил: «Вот еще, я же не нарочно». Вагон снова оживился. Два бывших солдата, сидевшие рядом с Квиникадзе, вели бурный диалог. Вопросы задавал зобатый с выпученными глазами, собеседник тоже выглядел нездоровым. У него был характерный для чахоточного сильный голос, глухой и низкий, и, споря, он беспрерывно кашлял.

— Все хочу тебя спросить, что это такое — большевики и меньшевики, может, ты понимаешь?

— Встречал на дороге ком глины?

— Он-то и сгубил меня!

— Ну вот, арба переедет его и разрежет на две неровные половинки, слева — побольше, справа — поменьше. Редко бывает, чтоб обе половины были равными, не так ли?

— Да брось ты!

Квиникадзе не нравилось все это, в особенности его раздражал дикий, неожиданно громкий раскатистый хохот тамады, который называл себя «мужчинским человеком». Когда они шли сюда, Варден предупредил его, чтоб он не называл себя врачом, а то, мол, спасу тебе не будет от их болячек. Сейчас Квиникадзе сердился и на себя и на Вардена за то, что поддался уговорам и дал себя привести сюда. Хотя он убедился в том, что в отношении санитарного поезда Варден был прав, убедил его в этом и обыск и выброшенные на платформу вещи. Ну и что, а кто знает, что ждет их здесь. И ведь он бросил семейство Ишхнели...



Вспомнив об обнаружившейся близости Валико и Нино, он вновь почувствовал боль. Пытаясь отвлечься от собственных мыслей, он стал вслушиваться в разговоры солдат.

— Скорее бы домой, надоело глядеть на эти безлюдные поля...

— Что ты плешь проел, скорей бы, скорей бы, доедешь, не бойся!

— Торопится человек, не видишь, как только присягнет новому правительству, так его сразу озолотят.

— Да, как же, дожидайся.

— А как же, братец ты мой, ведь революцию сделали, теперь, говорят, земли и заводы народу отдают!

— Боюсь, как бы не побили нас камнями...

Квиникадзе был обижен на Вардена за то, что тот привел его к незнакомым людям и оставил там, а сам уселся пировать. Уже проехали Тихорецкую, а Буцхрикидзе все не видать. Доктор часто обижался на Вардена, но стоило тому сказать ему хоть слово, и у доктора вновь теплело на сердце. Но теперь уже все! На первой же остановке он сойдет и перейдет к своим. У него с глаз словно бы спала пелена. Он вдруг увидел Буцхрикидзе на какой-то станции ночью на платформе снующим, как крыса, возле своих мешков. Может, он и не видел эту картину воочию, но в этом видении его надежда, его кумир вдруг предстал перед ним тем, кем был на самом деле, — пронырливым крестьянином.

Хаос революционных лет, с которым грузины-солдаты сталкивались на каждом шагу, почему-то вселил в них какие-то смутные надежды. Никого уже не удовлетворяла выпавшая на его долю участь, всем вдруг захотелось большего.

— Говорят, княжеский вагон обыскали, как бы до нас не добрались, — говорил кто-то.

— Пусть попробуют найти что-нибудь, — тут же возражал второй.

— Ты что, забыл, сколько в вагоне оружия?!

— Не мое же, спроси у других...

— В горах оружие — словно брат родной...

— Ээээ, вы все поете на один лад, для чего крестьянину оружие?!

— А чего тебя понесло на фронт?

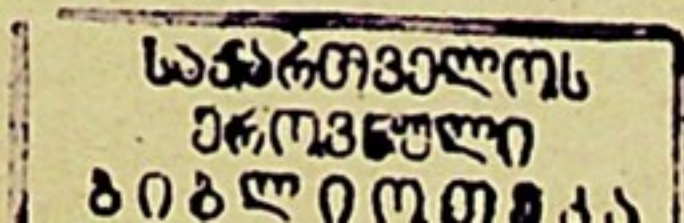
— Не пошел, в тюрьму уперли бы!

Один из новых знакомых Вардена, тот, что был одет в синюю блузу, снова начал песню. Задорная мелодия взвилась белым голубем, накренилась и, трепыхаясь, вот-вот, казалось, упадет, но тут возникла другая, двигаясь рывками, увлекая за собой ожившего белого голубя, затем они соединились, скользнули по воздуху, как ласточки, описали несколько кругов и начали снижаться. Тут же грянул могучий бас, прорезав по прямой пространство, на полпути величественно, уверенно двинулся вниз, легко коснулся дна, затем, все нарастая и нарастая, достиг головокружительной высоты, раскрыл крылья, повис в воздухе, покрывая, словно тенью, набиравший силу хор. Один, словно с подбитым крылом, то и дело встречал невпопад, но когда, казалось, столкновение неизбежно, он в последний момент уклонялся, так что невозможно было понять, случайно ли это везение или этот озорник испытывает свою ловкость. Наконец, вплетался изящным орнаментом в стройный хор, затем, как бы обиженный недоверием, снова упивался своим голосом, никого не желая знать.

В теплушке раздавалось стройное пение. Следующей станцией был Армавир.

В конце марта Екатеринодар несколько раз переходил из рук большевиков в руки добровольческой армии. 31 марта был убит генерал Корнилов. Эта весть мгновенно облетела весь Северный Кавказ. Большевики приободрились. Грузины, ехавшие в санитарном поезде, напрасно старались обратить внимание красноармейцев на документы, выданные в Смольном. В поезде был произведен еще один обыск. Было удивительно, как искусно, с каким большим знанием дела и, можно сказать, фантазией велись поиски. С глубокомысленным видом, с каким-то, можно сказать, ритуальным сладострастием копались бывшие крестьяне в чужих сумках и белье, карманах и даже посуде.

Драгоценности ни у кого не отбирались, но оправ-



дались предсказания Арадэли, всех высадили из вагонов, и санитарный поезд вместе с персоналом был конфискован. Без поезда документы из Смольного превратились в филькину грамоту. Черными тучами заволочло горизонт, еще немного, и пассажирами могла овладеть паника. К ночи в тупике остановилось несколько вагонов-теплушек. Грузинам было велено немедленно погрузаться, и вскоре вновь организованный поезд прокладывал себе путь в неизвестность. Пассажиры, вновь воспрянув духом, размещались в теплушках. Больше с облегчением, нежели с сожалением, они расстались, словно сбросив чужое платье, с относительным комфортом санитарного поезда.

Семейство Ишхнели распалось. Квиникадзе исчез вместе с Буцхрикидзе, госпожа Шуния вместе с Ираклием устроились в одном из углов вагона, и для Нино Валико подыскал укромное местечко. Он постелил на вагонный пол шинель, сверху набросил шубу. На чужой стороне, во враждебной обстановке, перед лицом смертельной опасности, без надежды на будущее, между людьми возникли новые взаимоотношения. Словно мановением руки были сметены родственные претензии, нечто гораздо большее, гораздо более значительное заслонило собой обязательные привычные связи. Традиционные взгляды, правила и обязанности сейчас выглядели неоправданными условностями. Если еще несколько дней назад Ираклий, ни секунды не задумываясь вызвал бы Валико на дуэль, теперь он без слов достал из багажа госпожи Шунии вышитую подушку и маленький коврик и положил их на ложе для Нино.

— Мы досрочно выполнили свои обязательства, — шутил Чкония, и больше для себя, чем для других, говорил: — У них столько раненых, это было просто проявлением гуманизма.

— Зачем же они отняли «буржуйку», она же была наша?

— Наверно, потому, что им не понравилось название — «буржуйка»...

— Чтоб они сдохли, сдохли, сдохли, — не переставала проклипать их госпожа Шуния.

Нино жила, словно в тумане. Все прошло мимо нее, и то, как Валико спустил ее с поезда, и обыск, и

новая для нее обстановка в «теплушке». Ей хотелось быть одной. Словно в глубокий колодезь доносились до нее голоса людей. Временами она пыталась что-то сказать Валико, но, не находя нужных слов, по долгу смотрела на его строгое лицо, глаза ее наполнялись слезами, и она вновь впадала в забытие.

Народ, точно рука судьбы, прокладывает курс исторической необходимости, будь то кризисные изломы или закономерный путь, — слухами или вымыслами почти всегда упреждая исторические события.

7 апреля 1918 года, за два дня до объявления «де-юре» независимой от России Закавказской федерации, пассажиры поздравляли друг друга с ликвидацией Закавказского комиссариата, который не признавал советскую власть и сохранял верность распущенному российскому Учредительному собранию.

— Грузия восстала из небытия, — с фальшивым пафосом восклицал Чкония. Но Ираклий не вспыхивал, как прежде, да и в эмоциональной реакции господина Лади не чувствовалось иронии.

Все это время Валико ни с кем не заговаривал, даже в лицо никому не смотрел. Весь его вид показывал, что ему не хотелось, чтоб кто-нибудь нарушил его покой.

Всю ночь пассажиры бодрствовали, вагон гудел тихими голосами. Едва мерцал, как уголек в затухающем костре, единственный фонарь на полу. На Тихорецкой поезд не пустили дальше. Причины не объясняли, но обращались с ними вежливо, если не считать того, что какой-то молодой человек во френче наорал на Чкония: «Куда прешь, собака? Не суй свой нос...» Но, видимо, застеснявшись женщин (хватилс все же воспитания), не закончил фразы. Под конец просьбы, уговоры, ни к чему не приведшая многократная проверка документов, видимо, сделали свое дело, и поезд наконец тронулся. Откуда-то в вагоне вдруг появился Буцхрикидзе.

— А где доктор? — тотчас спросила госпожа Шуня.

— С иверийцами режется в карты!

— Господи, когда же он научился?

— Научился, научился. Чему только человек сейчас не научится?!

Варден оглядел теплушку. Все устроились основательно, и он понял, что место ему уступят неохотно. К тому же спать не хотелось. Ехать оставалось недолго — всего один день, поэтому он решил не устраиваться тут надолго и время от времени наведываться к иверийцам. Чтоб убить время, он выбрал одного из пассажиров — студента с испуганным выражением лица. Попросив его подвинуться, он пристроился рядом с ним и вовлек его в разговор.

Светало... Вздремнувшие было ненадолго люди внезапно оживились, послышался шум идущего навстречу поезда. По соседней колее прогрохотали вагоны. На стенах, на потолке теплушки замелькал свет пронесившегося мимо поезда. Пассажирский гражданский поезд! Это был первый встретившийся им поезд, идущий «оттуда», обнадеживающий сигнал из «той» жизни. Значит, там все в порядке, если поезд грохочет так по-старинному мирно. Радость оказалась преждевременной. Предраассветные сумерки еще не рассеялись, когда поезд остановился в Армавире. Вместе с холодным свежим воздухом в теплушку ворвалась группа солдат, с ними были две женщины. — О, Боже, если еще раз обыщут, я свихнусь! — истерически выкрикнул кто-то. Их еще раз обыскали, и никто не свихнулся. Только когда ворошили постель госпожи Шунии, она, несмотря на то, что Чкония делал ей какие-то знаки, громко во всеуслышание сказала: — У меня создается впечатление, что большевики что-то потеряли у себя, а ищут у других. Но это философское обобщение, высказанное крайне раздраженным тоном, осталось безо всякого внимания. Человек, у которого висел на поясе морской блестящий кортик и которого называли «товарищ Гуров», велел пассажирам из вагонов не выходить и оставил наблюдать за ними двух женщин.

— Бесспорно, здесь в Армавире нас ждет террор, возможно, незаконный и тем более страшный, — говорил раскрасневшийся Чкония. Чем ближе поезд подходил к одному из узлов гражданской войны, тем взволнованнее казался господин Лади. Анализируя события, он для того, чтоб показать абсурдность поспешных практических действий, приводил исторические параллели. В подтверждение своих слов о коварстве

русских он вспомнил и то, как Екатерина II, подстрекая грузин, в то же время запретила Гудовичу посылать в помощь войско—всего два батальона и две пушки! Еще большее коварство они проявили в период нашествия Ага Магомет-хана: Потемкин дождался падения Тбилиси и только 3 ноября ввел в разоренный город егерские батальоны.

Удивительным было и то, что, когда Чкония говорил о независимости Грузии, в его тоне исчезли нотки ложного пафоса, испарилось и его философское настроение. Господин Лади и Ираклий словно поменялись ролями. Ираклий казался сломленным и смирившимся, он либо молчал, либо со всеми соглашался. Было видно, что с ним что-то произошло за эти десять дней пути. В нем зрела какая-то мысль, которую ничто не могло поколебать — ни споры, ни рассуждения. Он впервые сталкивался с простыми людьми в такой обстановке и силился понять, что объединяло их в вооруженные группировки — голод, страх, чувство мести или вырвавшееся на волю и нашедшие себе широкое поле деятельности дикие инстинкты?

— Вероятно, мы арестованы, — нервничал Чкония, — иначе зачем к нам приставили этих женщин?

— Что значит арестованы? Мы едем на Кавказ по приказу правительства, только ради их дел! И потом в документах четко сказано, что у меня сифилис, а господин Чкония чокнутый, — неизвестно для кого разъяснял Буцхрикидзе, потихонечку подбираясь к дверям.

В дверях с винтовкой в руках стояла высокая худая длинноносая женщина. Она стояла, устремив болезненно расширенные глаза в одну точку, и казалась даже косоглазой. На ней была шинель с грубо обрезанными рукавами и подолом, на рукаве красная повязка, обеими руками она держала винтовку между ног дулом кверху. Рядом жалась молодая застенчивая женщина в берете.

Пассажиры теплушки не знали, как оградить себя от надвигающейся опасности, страх сковал их, связал им языки. Они молча приводили в порядок свои вещи после обыска. Чкония вдруг вспомнил, что в Армавире у него есть знакомый грузин, который к тому

же занимает какую-то большую должность. Но как дать ему знать?

— В буфете на станции наверняка работают грузины, надо послать кого-нибудь за нарзаном и связаться с ними, — раздался из глубины вагона голос Арадэли.

— Но нас могут не пустить!

— Надо позвать разносчика из буфета.

— По-вашему говорить тут запрещено! — выкрикнула вдруг женщина с винтовкой и перевела застывший взгляд в другую точку.

— А что, ты не понимаешь, что теперь свобода и можно говорить на родном языке? — отвечал ей Варден, и тут же, повернувшись к студенту, добавил по-грузински: — Кошмарная баба.

Затем, подавшись вперед, мешая русские слова с грузинскими, продолжал: — А какие красивые девушки, повезти их сейчас в Грузию, купить им шубы, чернобурки, потом на Черное море отдыхать, сыграть свадьбу, танцевать, дарить шелковые чулки.

Молодая краснела и что-то шептала своей старшей подруге, а Варден, обращаясь к студенту и нежно поглядывая на девушек, продолжал:

— Какие хорошие девушки, эту высокую я бы повез для своего брата, свадьбу сыграть.


На лице у высокой промелькнуло что-то наподобие улыбки, повернув голову, она строго оглядела всех и с напускной твердостью сказала:

— Вы думаете, мы не понимаем по-грузински?

Буцхрикидзе подошел к девушкам, осклабился, тотчас став похожим на распутившего хвост индюка. Потом состроил рожицу, молодая прыснула. Теперь он обратился к ним на ломаном русском языке, абсолютно позабыв, что отвечал на чистом русском поначалу: — Мой природа, — сказал он, показывая на низ живота, — вода бросат хочет, природа требует вода бросат хочет.

Молодая в беретке, хоть и смущалась старшей подруги, но, не сдерживаясь, задыхалась от смеха.

— Ну, сатана, иди! Иди, иди! — женщина с винтовкой подтолкнула готовившегося спрыгнуть с подножки Вардена. Варден залез под вагон и посмотрел в сторону вокзала. У платформы стоял поезд и тол-



пился народ, но что там происходило, понять было невозможно. Люди суетились, словно муравьи вокруг мертвого жука. Неужели это поезд «иверийцев» — промелькнула в голове у Вардена неприятная мысль. Он огляделся, по другую сторону от полотна у водокачки стояла мирная толпа людей. Он высунул голову из-под колес вагона и снова обратился к женщинам:

— Моя вагзал пошел, нарзан принести.

— Валяй! — не глядя на него, разрешила женщина с винтовкой.

Буцхрикидзе не терпелось узнать, что происходит на вокзале, но осторожности ради он сначала перешел пути. Водокачка стояла на возвышенности, ниже виднелась кубанская станица — домики с зелеными ставнями, разрисованными голубками, походившими на жирных куриц. Кучка людей состояла из казаков, станичники, понурив головы, стояли тут же и слушали взобравшегося на бочку оратора — казачьего есаула. Похожая на дайру круглая папаха, накрест перетянутая узкой красной лентой, была надвинута ему на самые глаза. Он, видимо, споря с предыдущим оратором, обещавшим золотые горы, громко кричал:

— Что такое советская власть? Без мудреных слов, что делает ералаш в башках, скажу просто: советская власть это то, что из хама делает пана, да это точно! Но не думайте, что из всех хамов, нет! Все вы останетесь такими же хамами, но править вами будет хам из хамов, тот, который наихамейший из вас!

Послышался смех. Есаул, сдвинув папаху на темя и скрестив руки на груди, оглядел недоверчиво настроенную аудиторию. Он понял, что пыл его неуместен, слова — напрасны, люди ждали чего-то другого, более зримого и реального, но чего именно — есаулу было не понять. Большинство казаков, уроженцев здешних мест, были пока пассивны. Они еще даже не решили, к кому присоединиться, но так или иначе считали себя революционерами. И в тот момент, когда в стране идет азартная игра, есаул их пугает, ничего не обещая, но кому охота выходить из игры — ведь все живут надеждой на выигрыш!

— Смейтесь, смейтесь, потом поздно будет, когда заарканят! — проговорил сквозь зубы оскорбленный есаул, спустился с бочки и, уже стоя на земле, до-



базил: — Еще в Библии сказано, что первый раб на земле был сын Хама!

Народ на вокзале расходился, часть из них пошла к водокачке, среди них большинство оборванных, нищих бродяжек. Варден знал, что на каждого едущего с севера человека, не солдата, смотрят с подозрением. Даже в толпе. Он уже поймал несколько злых взглядов. Люди, идущие от вокзала, казались взволнованными, взбудораженными. Варден краем уха улавливал обрывки фраз: «корниловцы, золотопогонники, всех обязательно расстреляют». Какая-то пожилая женщина считала совершенно справедливым расстрел: «винтовки были спрятаны под вагоном», «бусурманы»... Эти отрывочные сведения под конец убедили его, что поезд, стоявший на вокзале, был тот самый, в котором ехали иверийцы. Все надежды испарились, клад погиб, теперь черед за ним самим, думал Варден. Мгновенно оценив обстановку, он вдруг инстинктивно вскочил на бочку, огляделся. Как в дурном сне, ему вдруг привиделось, что толпа у его ног — огромный распростертый дракон с разинутой пастью. Высоким голосом он закричал:

— Товарищи, братцы! Большевики хотят мира, свободы, хлеба и масла для народа. Да здравствует советская власть! Ура!

Не раз в голодном Петрограде он видел, какое впечатление и силу имеет этот конкретный лозунг. Но тут, в пока еще сравнительно сытой Кубани, даже упоминание масла не произвело желаемого эффекта. Никто не откликнулся на его слова, но это и не требовалось, он уже совладал со своим страхом, смутил своими словами толпу и теперь мог спокойно, не привлекая внимания, уйти оттуда.

Уставшее солнце клонилось к западу и, словно кокетливая женщина веером, то закрывалось серовато-голубоватым облаком, то сияло в полную силу.

В санитарном поезде оставалось несколько теплушек — паровоз и товарные вагоны отцепили. Двери теплушки были распахнуты настежь, и по-южному теплый, благодатный воздух согревал души грузин. Разносчик из буфета, рачинец, принес с вокзала горячий свиной шашлык на коротеньких палочках, хлеб и нарзан — хозяин буфета послал это своим соотече-

ственникам. К Чкония вернулась обычная его уверенность, он был доволен, что его знакомый оказал столь радушный прием и уважение: это означало, что в Армавире он пользовался влиянием, и можно было надеяться, что он не оставит их без поддержки, позаботится о них. Все были довольны, улыбались, голодные с удовольствием поели. Госпоже Шунии удалось и Нино заставить съесть кусочек мяса. И только Валико ни к чему не притронулся. Он был обеспокоен ложным положением — своим и Нино. Он не мог не заботиться о ней, но его забота воспринималась как вызов. Может, и Нино в тягость их новые отношения? Снова и снова в который раз он возвращался к тревожившей его мысли: «Скоро будем в Грузии... Может, перейти в другой вагон? Нино ждет семья, благополучие, спокойствие...» Достаточно ему сбежать из этого вагона, и все пойдет по-прежнему. Но нужна ли ему эта его прежняя жизнь? Испробованы все пути... И даже на родине он лишний... Грузия обречена, ее не спасет ничто. Два-три ручейка не очистят мутный поток множества политических течений, множества химер социального благоденствия. Всеобщее благоденствие? Если счастье одного человека строилось на стольких бедах и несчастьях, то сколько же несчастий вызовет счастье всеобщее, и за чей счет оно будет строиться? Может, все-таки стоит бороться за истину? Но что такое истина? Правда, справедливость? Конечная цель и действия, направленные к ее достижению, больше относятся к частностям, нежели к высшей истине. Истина имеет очень мало общего с человеческой логикой. Такой взгляд сложился у Валико поневоле, потому что в жизни он не раз становился свидетелем несправедливости, но если даже торжествовала справедливость, в ней очень часто гнездилась фальшь. Таким образом, истина несовместима с борьбой, она не выражает ни правды, ни справедливости, не побеждает и не терпит поражений. Возможно потому, что жизнь человеческая коротка, а логика истины — долга?

Валико был верующим, но в религии ничего не смыслил. Христианство отвратило его страхом, которое наводило на людей, Судным днем и адом. Му-

сульманство, по традиции предков, было для него синонимом предательства.

Великая, исключительная миссия религии, заветная сфера, принадлежащая ей в жизни человеческой, — все это не вызывало у него сомнений, но требовало постоянной сосредоточенности, сейчас же, в водовороте событий, в нем глухо бурлили подспудные силы, мысли проносились в голове, как рой растревоженных ос, он ощущал себя веретеном, которому беспорядочно намотанная нить не дает свободно вращаться. Валико глядел на Нино и чувствовал, что недавняя стычка с прыщавым солдатом замутила и отравила чистые, светлые чувства, и быть может, навсегда. Порой он замечал слезу, яркой звездочкой озарявшую ее тонкое лицо, и это возвращало ему надежду, и сердце его начинало беспокойно биться.

В Армавире сосуществовало три власти: совет солдат, ушедших с кавказского фронта, казацкая власть и советские организации.

Провозглашенный большевиками лозунг национальной независимости казаки использовали для создания старшинного самоуправления. Считалось, что оно подчиняется советским организациям, но на деле казаки-фронтовики ни во что не ставили даже наиболее действенный орган, только что созданный советским правительством, — ЧК.

Солдатская орда, пришедшая с кавказского фронта, — еще одно детище советских лозунгов — вторглась в Армавир несколько дней назад. Ими руководил совет, избранный по принципу атаманства. Эти три власти избегали взаимных столкновений. Каждая из них для утверждения своего влияния, прикрываясь различными идеалами, громила и разоряла мирное население.

Захваченные в плен грузины потребовали кого-нибудь из начальства, чтобы он объяснил им причину такого бесцеремонного обращения и, главное, пролил хоть какой-то свет на ожидавшее их будущее. Таким человеком оказался все тот же «товарищ Гуров». С ним вместе явился молодой человек приятной наружности, одетый в кожаную куртку, с полевой сумкой через плечо. Разъяснить что-либо «товарищ Гуров» и Семен Моисеевич, как звали бойко сыпавшего слова-



ми молодого человека, конечно, не соизволили. Гуров сменил женскую охрану на мужскую, приказал принести кипяток и объявил, что ночевать грузинам придется в вагоне, а завтра утром все выяснится.

Нино и Валико проснулись одновременно. Было далеко за полночь, в теплушке все, вероятно, спали. Из щелей в полу тянуло запахом махорки и доносился тягучий, монотонный бас:

— Теперича он стал товарищем Гуровым. А я-то его знавал Гошкой, несчастным солдатиком у меня был, ей-Богу, а когда у нас сделалась революция, этим передовиком и стал Гошка. Это я тебе скажу.

Некоторое время охранники молча курили, потом второй спросил:

— Ты же кем был?

— Фельдфебелем. Раз, я тебе скажу, хотел треснуть, да хитер ведь был, шельма, какое время бить, мол, фельдфебель, пули летят. А тут в аккурат атаку затрубили — везет человеку, сорок боев, я тебе скажу, за месяц было, в немчуру стреляли, «до победного конца» кричали, а Гошка все про мир да за мир, вот и начали текать в дезертиры. И что получилось?

Снова наступило молчание. В вагоне сильнее запахло махорочным дымом.

— Мы друг в друга стреляем, я тебе скажу, а Гошка стал товарищ Гуров! С портупеей ходит. Вот тебе и вся революция.


Под крышей теплушки было прорублено узкое зарешеченное окошко, через которое открывался вид на окрестности освещенной водокачки. По-видимому, там стоял паровоз. Увлекаемые ветром клубы пара подлетали к самой решетке и летели дальше, как потревоженные птицы.

— Бежим? — прошептала Нино, пытаюсь улыбнуться. Валико догадался, что сказано это было для того, чтобы придать ему мужества и развеять мучавшие его сомнения, что слово это на самом деле не имело отношения к побегу. Нино никогда не ощущала себя довольной и счастливой, хотя, глядя со стороны, объяснить это было, пожалуй, невозможно, но чему бы это ни приписывали: строптивости, замкнутости или надменности, одна она знала — ей еще не встретился человек, вполне достойный ее. Кто знает, может,



она была слишком требовательной. Родственники, друзья, муж — все старались сблизиться с ней, но результат напоминал пресный, безвкусный плод, до времени созревший в теплице. Теперь же, когда она наконец встретила человека, в котором ей все нравилось, которого она понимала, которому готова была полностью открыть душу, у нее не было возможности даже беспрепятственно и спокойно побеседовать с ним. О многом ей хотелось рассказать Валико, поведать ему свои детские мечты, сквозь которые она до сих пор окидывала мысленным взором всю свою дальнейшую безрадостную жизнь; рассказать о счастливых днях детства, проведенных в деревне с няней Монавардисой, о том, как впервые научилась вышивать золотом по шелку, вязать разноцветные кошельки и яркую тесьму; как полюбила она чтение и уединение; надеялась описать захватывающие минуты, когда тихая, ласковая Монавардиса, дождавшись вечера, открывала сундучок в наполненной ароматом ладана и сушеных яблок комнате и благоговейно доставала заботливо завернутые в парчу рукописи; как мелодичным голосом читала ей псалмы, а в лесистом ущелье печально куковала кукушка. Рассказать о видениях, являвшихся ей перед сном на потолке в отсветах лампы, теплившейся перед образом. Открыть ему свое миропонимание. Мечтала вместе с ним идти к постижению духовных глубин, где все озарено таинственной сущностью человеческой жизни. Ей представлялось, как приголубит, окутает любовью этого измученного человека, успокоит его бесцельно мятущуюся душу. Как вдруг откуда-то возникало воспоминание о гадком вчерашнем происшествии, и сердце ее сжималось от боли. Она давно уже знала, что несчастна, но, оказывается, несчастен и Валико, и ей было жаль его до слез. Но все же она надеялась преодолеть свою слабость, бросить вызов судьбе, победить несчастье ради Валико, совершить даже необдуманый поступок, если потребует.

Валико бережно коснулся протянутой маленькой ручки, почувствовал, с какой обреченной готовностью сжала Нино его руку. Они улыбнулись друг другу счастливой улыбкой, закрыли глаза и, охваченные блаженством, словно застыли до самого рассвета.



В Армавире в солдатском совете пронесся слух с севера направляется поездом группа офицеров на помощь добровольцам. Пока еще было неясно, кто доставил эти сведения и насколько они достоверны, а вся орда уже бегом двинулась к станции. Поезд только что остановился, никто не успел выйти из вагона, паровоз пыхтел, пуская клубы пара. Солдаты, крича и ругаясь, ворвались на платформу. Одна группа метнулась к последнему, остальные окружили теплушку «иверцев».

— На прицел! — скомандовал кто-то грубым голосом, и он же, когда на теплушку были направлены ружья, закричал: — Эй, теплушка, вылезай по одному! Быстро, покуда целы!

Грохоча сапогами по платформе, подбежали несколько отставших солдат. В теплушке не откликнулись на приказ.

— Считаем до трех! — В мертвой тишине раздался треск взводимых курков.


— В чем дело? — спросили из вагона, словно только сейчас проснулись. — Мы то...

Дверь со скрипом отошла, первым с узелком в руке спрыгнул «мужчинский человек».

— Братва, мы тоже солдаты, — с вымученной улыбкой произнес мохевец.

— Давай, давай, проходи, там видно будет!

Вслед за «мужчинским человеком» вылезли горец и верзила, затем показался заспанный офицер. Одет он был, как простой солдат, без офицерских знаков отличия, но породистое лицо, внушительная фигура ясно свидетельствовали о его благородном происхождении. А ведь еще недавно никто не мог представить, что беспечно растянувшийся на полу вагона и громко храпевший человек мог быть таким ловким и изящным. Не успела половина пассажиров выйти на платформу, как в теплушку ввалились русские солдаты и начали пинками и тумаками выталкивать остальных. Вагон опустел. К Квиникадзе, который забился в угол и медлил, словно искал кого-то, подбежали два солдата, один из них, рябой, сначала обыскал его карманы, затем развернул багаж Буцхрикидзе и, обнаружив внушительных размеров сверток, вцепился в него, накрыл обеими руками, бросил испытующий взгляд на



Квиникадзе, затем быстро оглядел вагон. В теплушке не было никого, кроме хмурого солдата, стоявшего рядом. Встретив тяжелый взгляд товарища, рябой засуетился, снова кинулся к Квиникадзе, вывернул ему карманы, наградил тумаком, потом стал шептать что-то на ухо второму солдату.

— Не толкайтесь, господа, — скулил перепуганный Квиникадзе.

Рябой притворился, что слово «господа» возмутило его.

— Кто твой господин, кто, отвечай! — начал он фальшиво и неуверенно, но потом вошел в раж и стал изображать великий гнев. — Мы против господ кровь проливаем, сам ты господин и сволочь!

Все это было рассчитано на внешний эффект и поначалу даже у противника заслуживало что-то вроде симпатии: «Смотрите-ка, они, оказывается, не только отнимают и убивают, а хотят осуществить в жизни высокие идеалы». Но некогда вырвавшиеся непосредственные эти слова из-за бесконечных повторений и тупого подражания стали расхожими и насквозь лживыми, ими старались оправдать творимые жестокости. Вот и сейчас второй солдат воспользовался разыгравшейся сценой как поводом для того, чтобы схватить ошеломленного Квиникадзе за шиворот и грубо вытолкать его из вагона. На платформе собрался народ, глаза на шумное зрелище. Солдаты заставили пассажиров опуститься на колени и взяли их в кольцо, направив на них ружья. Квиникадзе швырнули в самую середину. Возбужденные, неясные голоса переросли в злобные крики, когда залезшие под теплушку для обыска солдаты стали выбрасывать на платформу винтовки. Поверх частокола направленных ружей в коленопреклоненных пленников полетели палки и камни.

— Гляди-ка, не шутят! Тут недолго и пострадать, — воскликнул верзила.

На станции показался высокий военный в надвинутой на глаза папахе. Тонкие усики у него были лихо закручены и стояли торчком, на поясе красовался маузер в огромной деревянной кобуре. Солдаты угодливо мельтешили вокруг него. Он даже не обратил внимания на взятых в плен пассажиров, лишь мельком

взглянул на сваленные на платформе винтовки и рас-  
порядился увести «корниловцев» (как называли грузинских солдат).

Большое здание, куда загнали грузин, внутри походило и на конюшню, и на разграбленную церковь. Крышу венчал круглый купол, а пространство вокруг алтаря было разделено деревянными перегородками на стойла с сеном и конским пометом.

— Господи, твоя воля, — крестился чахоточный, — до чего дошли эти люди, собственный дом лошадиными копытами топчут, храм в конюшню превращают.

При обыске на станции, кроме ружей, у пассажиров обнаружили золотые эполеты и канцелярские принадлежности, и это окончательно убедило главрей солдатского совета в том, что грузины и несколько «инородцев» — корниловцы.

Поэтому решено было предать их суду на солдатском митинге и как врагов революции — публично расстрелять.

Несмотря на то, что с пленными обращались очень грубо, не отвечали на вопросы и вот уже несколько часов держали их, как мышей в мышеловке, — грузины все же не представляли себе, какая опасность им угрожает. Правда, на душе у них было очень неспокойно, но внешне они вели себя как обычно: приводили в порядок развороченный при обыске багаж, занимали удобные места, сооружали изголовья. Некоторые устраивались так основательно, словно собирались провести здесь всю жизнь. Только Квиникадзе был настроен панически. Сидя на амвоне, он ныл и причитал, привычно теребя средний палец левой руки, хотя обручального кольца на нем уже не было, его кто-то сорвал с пальца во время обыска. Нет, господа, приговаривал он, нет, это невообразимо, что им нужно от нас, в чем наша вина, как они обращаются с нами? Он приставал с вопросами к стоящему рядом с ним породистому офицеру, с откровенным презрением следившему за суетой бывших солдат. — Как они поступят с нами, что им нужно от нас? — не унимался Квиникадзе, стараясь добиться сочувствия от не приветливого офицера.

Квиникадзе был небольшого мнения о себе, всю жизнь оглядывался на других, всегда считал большин-



ство своих знакомых людьми благородными и мужественными, и это мирило его с окружающим миром. Нередко он ошибался, и герой его оказывался человеком недостойным, как, например, в этот раз Буцхрикидзе, зато судьба послала ему офицера, и он старался притулиться к нему. И так было с ним всегда.

Офицер в конце концов соизволил ответить на вопрос Квиникадзе. Он заговорил, не глядя на собеседника, как бы беседуя сам с собой.

— Исторически раб всегда трус, ибо он однажды предпочел уже рабство смерти. Он и вероломен, ибо должен возвратить себе свободу. Эти, — поднял он голову и сделал неопределенный жест, так что нельзя было понять, подразумевает ли он снующих по превращенной в конюшню церкви бывших солдат или всех остальных, — скорее голодные, чем революционеры. — Тут он словно вспомнил, что говорит с кем-то, оборотился к Квиникадзе и иронически добавил: — Не дрожите, смерть не страшна.

— Нет, смерти я не боюсь, я знаю ли... боли, непереносимой боли...

— Непереносимой боли не существует, когда боль становится непереносимой, человек теряет сознание.

Квиникадзе стало легче на душе, словно он нашел давно утерянную вещь. Лицо у него прояснилось. Он вспомнил первый год студенчества, тот день, когда ему впервые пришлось проводить вскрытие трупа. Тогда им овладел нешуточный страх, он живо представил себе кровь, кромсание мертвого тела, собственное «я» в каком-то потустороннем мире. Когда под влиянием нахлынувшего стихийного ужаса потерявшие привычную форму вполне обыкновенные предметы стали надвигаться на него, сливаясь с нарастающим неясным гулом, — он упал в обморок.

На другой день он явился в институт только затем, чтобы попросить об увольнении и вообще отказаться от мысли продолжать учение. Старый профессор выслушал незадачливого студента, прожег тяжелым взглядом и недолго думая накричал на него: «А ну-ка перенесись в Кутаиси, быстренько! Думай о чем-нибудь дельном, — и, заметив, что Квиникадзе обомлел от неожиданности, резко сменил тон на ласковый: — Разве так держат скальпель? Это же не перчатка!

Возьмите как следует! — и снова приказал: — Сейчас же приступайте к вскрытию!» Квиникадзе сделал над собой усилие, надел резиновые перчатки, мысленно представил себе кутаисский бульвар и едва не рассмеялся, настолько неуместным было сейчас это воспоминание, а тем временем уже приступил к делу и незаметно для себя благополучно довел задание до конца. Вот и теперь офицер, с его презрительной гримасой, злым, надменным выражением лица, изысканными манерами, почему-то действовал на Квиникадзе успокаивающе.

Время шло, никто вроде не вспоминал о пленных, и это неясное ожидание рождало мрачные мысли. Грузины пытались подбодрить себя шутками.

— Вон какие колонны, видать, прежде тут церковь у них была. Грехи отпустить будут. На покаяние нас сюда загнали, собачье отродье.

— К рубиновому кресту дадут приложиться.

— Да что там рубиновый крест, воды бы хоть напиться.

— Черт бы побрал мою жену, — бранился одетый в синюю рубаху. — Дом имела в три комнаты, десятину земли, а язык в шесть сажен длиной. Сколько ни твердила, что ее это дом, а я взял и продал его. Да что толку, все равно в солдаты забрили. У-у, чтоб им...

— Недаром говорится, от сумы да от тюрьмы не зарекайся, — жаловался заметно упавший духом «мужчинский человек», возясь со своим узелком. — Сапоги и те стащили, босяки.

— Если бы не нашли ружья, ни к чему не смогли бы придрататься, — вмешался зобатый имеретин.

«Мужчинский человек» хотел расхохотаться, но не смог и, постучав себя по лбу, грозно наорал на имеретинца: — Дурак ты, дурак! — Этим он на всех надел намордник, отбив охоту искать виновника свалившейся беды.

Верзила все же не выдержал: — Одного не пойму, зачем вам нужны были эполеты?!

Тут раздался дикий хохот, так раздражавший Квиникадзе и означавший, что во избежание беды надо переменить тему разговора.

— Оставь, браток, — начал одетый в синюю рубаху, — не верим мы, грузины, в Бога. Где мы сейчас

находимся? В христианской церкви. Перекрестился хоть кто-нибудь? Ты погляди на них, погляди!

У дверей, скособоченных и разохшихся, замкнутых снаружи на двойной засов, сквозь щели которых виднелся движущийся силуэт часового, стояли на коленях и молились два мусульманина и офицер-азербайджанец. «Видать, и их страх одолел, а то ведь человек на радостях три дня будет из пушек палить, а Бога не вспомнит», — проворчал кто-то.

В полдень пленных выгнали в голое, наполовину вспаханное поле. Солнца не было видно, оно словно ощущалось в теплом, тихом, ясном дне. Грузины приободрились. Природа проливали покой в души людей; и им хотелось верить, что добро и благодать — основной закон жизни. Достаточно было окинуть взглядом прозрачные облака, летящую птицу, бескрайние поля, и бессмысленным, невозможным, диким казалось даже малейшее зло.

Посреди поля, вокруг наспех сколоченной и грубо оструганной скамьи, группами располагались солдаты. Усатый военный в папахе стоял, поставив одну ногу на скамью и опершись локтем на колено. По обе стороны от него сидели два солдата. Один, опустив голову, наигрывал на гармони какую-то мелодию, другой, лысый, непоседливый, то и дело вскакивал, отдавал распоряжения, быстренько возвращался, словно был привязан к своему месту или боялся потерять его. После каждого такого возвращения он угодливо старался в чем-то убедить усатого, который озирался вокруг с непроницаемым выражением лица. Большинство солдат стояли, некоторые сидели на корточках, а кое-кто, сняв шинель, полулежал на земле. Показались пленные под конвоем. Усатый что-то объявил солдатам, в ответ раздались шумные возгласы. Пленных рассадили поодиночке. Тут же возле телеги суетились несколько штатских: распрягали коней, тащили пулемет, сваливали в кучу на земле кирки и лопаты.

Усатый сдвинул набок висящий спереди маузер, сел, скрестив руки, а лысый встал, расправил плечи и, откинув голову, заговорил крикливым голосом:

— Братцы, товарищи! Когда мировой пролетариат борется за освобождение от господства мирового ка-

питала, когда наши братья и сестры проливают кровь за революцию, когда крестьяне, рабочие и солдаты ходят в бой супротив империалистических наемников, мы не имеем права не быть бдительными.

Чем больше непонятных слов употреблял оратор, тем суровее делались лица солдат, и в конце концов выражение у всех стало такое, словно вот сейчас каждый из них должен вступить в схватку с разъяренным диким зверем. Вдруг прямо на макушку оратору село какое-то насекомое вроде мухи. На голом черепе оно выглядело огромной черной родинкой. Лысый расстегнул свой китель без погон и продолжал:

— Как мы уже говорили, по имеющимся сведениям, фактам... Вещи, которые мы нашли, — все доказывает, что этот сброд — корниловцы.

Насекомое почему-то стало вертеться волчком на словно специально освещенной лучами солнца голове. Лысый что-то почувствовал, помахал рукой, черная родинка тяжело взлетела и опустилась на прежнее место. В передних рядах солдаты зашевелились. Оратор заметил, что внимание аудитории переключилось на какой-то посторонний предмет, на мгновение остановился, пробуравил взглядом ухмыляющиеся лица, ничего не понял и недоуменно пожал плечами. Откуда ни возьмись прилетело второе насекомое и буквально прилепилось к первому на голове лысого. Солдаты прыснули. — В чем дело? — спросил встревоженный оратор.

Усатый встал: — На твоей голове бордель устроили, — разъяснил он, обложил лысого по матери, сорвал с головы папаху, хлопнул ею по голому черепу остолебневшего от изумления оратора, и оба убитых насекомых свалились наземь. Солдаты хохотали. Среди пленных грузин тоже кое-где слышался преувеличенно веселый смех. Они хотели дать понять этим достойным людям, что ждут от них только добра и не допускают мысли, чтоб они, такие понятливые и добродушные, могли поверить всякой брехне.

Усатый надвинул на лоб папаху, глаза у него почти не были видны, только один ус слегка подергивался. Суровые лица солдат прояснились, создавалось впечатление, что все решено и спорить больше не о чем. Лысый пожал плечами, намереваясь продолжить речь.



— Ладно, — произнес усатый, махнув рукой, — садись, — и сделал знак второму солдату, сидевшему на скамье. Солдат встал, осторожно отставил гармонь. Стало тихо. В больших выцветших голубых глазах солдата темным пламенем мерцало злорадство. Пленные с напряженным вниманием ожидали развития событий. Оратор не спешил. Казалось, еще мгновение, эти веселые люди отбросят ружья, протянут друг другу руки, обнимутся, прервут эту придуманную кем-то игру и мирно разойдутся по домам, вернуться к своим семьям. Во всяком случае грузины считали это логичным.

— Мать честная, — начал наконец солдат таким тоном, как будто до него кто-то вздумал защищать пленных, — самого генерала Корнилова изничтожили, а енту прыстежь поганую миловать прикажете? — Он обвел окружающих вызывающим взглядом проститутки. Глаза у него были воспаленно-настороженные, как у больного, и в то же время казалось, что он даже улыбается. Солдаты замерли.

— Кольца, эполеты у них откуда, ежели не с грабежа?!

— А ружья, ружья! — поддакнул кто-то.

— Чего гутарить, все ясно — под пулемет их!

Не успел он договорить, как вскочил на ноги «мужчинский человек»:

— Братцы, слуши, мы не корниловцы, мы солдаты, домой едем.

— Садись! — заорал на него стоявший тут же конвойный, толкнул прикладом в спину. Мохевец сморщился, едва не упал, но все же пытался объяснить:

— Ми бедни народ, слуши, против царя воевали, дети ест, почему говоришь корниловцы...

Конвойные набросились на него, оттащили и стали избивать ногами. «Мужчинский человек» продолжал кричать:

— Начальник, дорогой... зачем... корниловцы... пожалей, зачем... зачем...

Скорчившись, спрятав голову в колени и прикрывшись руками, он перекатывался, как мяч. Слова вырывались у него отрывисто, так как при каждом слове на него обрушивался град жестоких пинков. На-



конец он смолк и остался недвижим, не подавая ни каких признаков жизни. В это время всеобщее внимание привлекли три лошади и два всадника, приближавшиеся со стороны города. Они скакали напрямик, через пашню. Усатый двинулся навстречу им. Перед пленными вновь забрезжил луч надежды, уже утраченной. Они не отрываясь следили за каждым движением усатого, оценивая все всматривались в сосредоточенно деловое выражение лиц приблизившихся всадников.

Когда усатый шел мимо мохевца, сжавшегося, как черепаха в своем панцире, тот неожиданно поднялся, обнял колени усатого и взмолился:

— Отец родной, дорогой, помоги, поедем в деревню, коней дам, овец дам, помоги. — Лицо у него распухло, изо рта текла кровь, вместо глаз из глубины блестели две крохотные точки. Тут все обратились в зрителей — и солдаты, и пленные, происходящее как бы объединяло их, ставя в один ряд, свидетельствуя о нераздельности человеческой природы. Грузинами овладела безотчетная надежда: быть может, весь гнев солдат обрушится на него одного, быть может, один только мохевец станет жертвой дикого недоразумения и на этом все закончится?!

— Встань! — спокойно произнес усатый, нагнулся, помог ему подняться, поставил на ноги, отошел назад и потянулся к маузеру.

— Ааа! — завопил мохевец, бухнулся на колени, воздев руки к небу, завалился набок, как плохо набитый мешок, и упал ничком. — Не убивай, отец родной!

Усатый оглядел его с гадливостью, поправил маузер на поясе, отвернулся и зашагал к всадникам.

Вероятно, сейчас решалась участь грузин. Прибывшие, конечно же, были начальством. Молодой человек в кожаной куртке, с полевой сумкой через плечо, выглядел командиром, второй всадник был худощавый, сутулый, в высоченной фуражке, шинель на нем висела, как на манекене. Они были явно начальниками и знали себе цену — остановили коней на таком расстоянии, что усатому пришлось сделать навстречу им двадцать шагов, не меньше. Спрыгнув с коня, молодой человек сделал движение, чтобы подать



руку усатому, но тот испуганно отпрянул и с угрюмым лицом что-то сказал. Они стояли далеко, и пленные не слышали их разговора. «Конечно, — думали грузины, — не по вкусу ему пришелся приказ об освобождении невинных людей. Может, даже не поверил и требует подтверждения». Человек в куртке поправил сдвинувшуюся полевую сумку. «Наверно, показал, вот, мол, оно, распоряжение, или же этому пугалу — своему спутнику приказал арестовать наглеца за неповиновение». Второй всадник действительно подвел коня. «Ясное дело, не пешим же его погонять». Но чему обрадовался усатый? Возможно, конь ему знаком, он потрепал его по холке, что-то проговорил насмешливо, не хочет, значит, ронять свое достоинство. Ну вот, хоть и нехотя, но соглашается. Молодой командир прощает ему на первый раз ослушание, хотя и делает выговор. Усатый показывает рукой на пленных, неужели хочет свалить на них вину? Молодой человек в кожаной куртке оглядывает их с небрежным любопытством, поведение и выражение лица его все время оставалось без изменений, таким оно остается и сейчас, дышит спокойствием и уверенностью, что любое его приказание будет немедленно исполнено. Выглядит он даже добрым человеком. Так истолковали пленные эту встречу.

На самом деле между прибывшими и усатым в папахе происходил такой диалог:

— Здравствуй, товарищ Кисляков! — человек в кожаной куртке спешился. Это был комиссар Семен Моисеевич.

— В чем дело?

— А ну приведи коня! — обратился Семен Моисеевич к сопровождающему. — Командиры тебе коня прислали в подарок... Смотри, какой красавец! Вороной!

— Конь добрый, но какие-такие командиры?

— Товарищ Гуров и новый председатель губчека Тюхин. Хотят с тобой поговорить, срочное дело есть.

— Успеется, сперва с этой швалью надо разделаться.

— Они и есть корниловцы?

— Разве не видно?

— И что ты собираешься с ними делать?



— Митинг приговорил к расстрелу.

— Кисляков, срочно надо ехать, а то добровольческая армия вот-вот ворвется в Армавир. Поговорить надо.

Усатый на секунду задумался, покрутил усы, кликнул лысого, передал ему командование, сел на подаренного коня с мощным крупом, посадил сзади солдата с гармонью и ускакал вместе с двумя всадниками.

Тотчас после отбытия командира лысый развил большую активность. Он приказал двум солдатам выкатить пулемет на видное место, а пленным — взять в руки лопаты и вырыть большую яму. Приговоренные к смерти и тут не теряли надежду: не даром же те двое прибыли из города, они ведь даже солдата с гармонью захватили с собой. Уу, трусливая тварь! Допустим, они приехали по другому делу, все равно, разве можно приводить приговор в исполнение в отсутствие начальства? Пока возвратится усатый, пройдет немало времени — город неблизко. А лысый попусту бахвалится, пугает, да и то сказать, если собираются всех расстрелять, зачем тогда столько церемонились с мохевцем. Потому-то усатый и не застрелил его, наоборот, даже помог ему подняться, чтобы продемонстрировать прибывшим свою гуманность.

Безрезультатно окончилась еще одна попытка внести хоть какую-то ясность в происходящее:

— Елдаш, моя не Корнилов, моя не гурджи, — залопотал, разводя руками, азербайджанец, когда ему приказали взять кирку.

— Грузин — не грузин, бери! — повторил с угрозой штатский, и этот робкий бунт был подавлен.

Неизбежное надвигалось неотвратимо, но как только пленные начинали ясно осознавать безвыходность своего положения, мысль упорно уводила их в сторону от страшной реальности, сила воли изменяла им, и все окружающее расплывалось перед мысленным взором, словно происходило под водой. Кроме приказов солдат, которые несчастные пленные безропотно выполняли, они ничего не слышали и не понимали. Иммеретин, словно икая, повторял: «правда, правда», глаза у него чуть не вылезали из орбит, чахоточный натужно кашлял, казалось, ему никогда не откашляться, и в промежутках между выдохами крестился, что-



то бормоча, прося помощи у Бога. Стоявший рядом с ним верзила поминутно зевал. «Что, браток, спать хочется? Крепись, — подбадривал других, на самом деле борясь с собственным страхом, одетый в синюю рубаху. — Ну что вы выстроились в ряд, как на панихиде, ждете этих лопат, как рукопожатия убитых горем близких, берите, не бойтесь, они хотят, чтоб мы им за здорово живешь окопы вырыли».

Но то, что случилось потом, почти не оставляло надежды.

Пленные должны были сами копать себе могилы. Офицер побелел, как полотно, лицо у него вытянулось, волос на голове, казалось, стало больше, словно на его и без того густые волосы надели парик. Он стоял, опираясь дрожащей рукой на воткнутую в землю лопатку. К нему подошел лысый.

— Чего не копаешь? — и пошел дальше, не глядя, уверенный, что офицер немедленно приступит к исполнению его приказа.

— Не буду рыть! — истерически закричал офицер.

Лысый на мгновение застыл, но тут же схватил валявшуюся кирку, развернулся и изо всех сил ударил офицера по вытянутой руке. Раздался нечеловеческий вопль. Из сломанной руки выскочила кость, связки и сухожилия повисли лохмотьями.

— Бери лопату, — издевательски повторил лысый. Офицер с тихим стоном взял лопату левой рукой. — Кто еще не желает рыть? — Лысый молодецки повел плечами и оглядел пленных с злорадным торжеством.

Квиникадзе в своей жизни имел связь только с одной женщиной и, разумеется, любил ее всю жизнь. Это была добрая, по-матерински ласковая, старательная, печальная одинокая вдова. Только раз за все время Квиникадзе почувствовал себя неловко: в первую ночь, на рассвете, когда увидел увеличенный портрет ее мужа. Освободившееся чувство, подобно вышедшей из берегов реке, обильно оросило его душу, распустившуюся, как цветок, но тут внезапно его стали мучить угрызения совести, ощущение вины за невольное участие в несправедливости, ему хотелось упрекнуть себя, но в чем, он не знал и не мог найти виноватого, женщину он не винил, напротив, она при-



давала всему естественность, покой, наполняла его счастьем. Для себя же он пытался найти оправдание в том, что молодой человек на портрете глядел куда-то вдаль, а не на свое бывшее ложе. Когда он в следующий раз пришел к Лизе (так звали вдову), спальня была уже перенесена в другую комнату.

Студентом Квиникадзе жил нахлебником в семье, найденной для него его опекуном. Он, как правило, не участвовал в молодежных компаниях, главным образом потому, что не терпел непристойностей, особенно неуважительного отношения к женщине, а циничных разговоров о женщинах избегал так явно, что товарищи потехи ради специально затевали их в его присутствии.

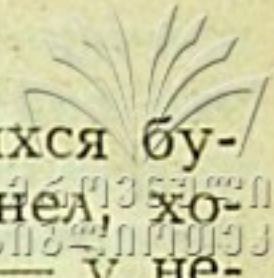
До двадцати пяти лет Квиникадзе не знал женщин. Его «непорочность», как шутили студенты, в один прекрасный день пропала втуне. Он и сам толком не помнил, что произошло. Это случилось на квартире безупречного, как он считал, молодого человека, из уважения к которому он согласился принять участие в пирушке на «немецкий счет». В разгар веселья студенты привели трех женщин и устроили коллективную гулянку. Смущенный «вольным» поведением женщин, испытывая чувство томительной неловкости, Квиникадзе, никогда до того не напивавшийся допьяна, принуждаемый непререкаемым авторитетом — хозяином квартиры, опрокинул в себя несколько стопок водки и опьянел до потери чувства. На другой день он помнил только, как в темноте, под хохот собутельников, он оказался загнан в угол, и к нему с силой прижималось знойное голое тело.

Сближение мужчины и женщины происходит там, где это оказывается возможным. Посторонним часто кажется удивительным, как и почему такой-то мужчина сошелся с такой-то женщиной. Где возникает интим, там возможно и сближение, так что первая же фельдшерица, проявившая сноровку, и подготовила соответствующие условия, добилась того, что он отважился на, казалось бы, немислимый шаг, несмотря на бытовые трудности (к тому времени опекун промотал все его состояние), несмотря на то, что они были разного вероисповедания, он решил жениться на Лизе — казанской татарке. Но, видимо, некоей высшей

силой была задумана другая комбинация — Лиза неожиданно скончалась от туберкулеза за какие-нибудь полтора месяца на руках у Квиникадзе. Он остался верен ей, ибо больше ему не встретилась ни одна женщина. Пока в нем бурлила молодая кровь и томили желания, он находил разрядку в онанизме, после чего чувствовал себя пристыженным, подавленным своей беспомощностью.

Прошло много лет. Воспоминания, связанные с Лизой, грустные раздумья постепенно настроили его на философское отношение к жизни. А в последнее время утонченные мечты год от года меняли свой облик. Детство, недолгие, но счастливые годы, проведенные в родительском доме, странным образом слились с эпизодами, связанными с Лизой, утратили четкие очертания, словно все происходило в одно время и в одном месте. Мысли о смерти тоже окрасились в эгегические тона. И если вначале кончина Лизы означала для него тревожный, полный упрека взгляд умирающей, то с течением времени это видение все более и более менялось, и обращенный на него взор становился все печальнее, но и ласковее и спокойнее.

Сейчас, стоя в очереди за киркой и лопатой, Квиникадзе впервые кинул взгляд на себя как бы со стороны, его жизнь распрямилась, как пружина, перед мысленным взором встали застывшие, неподвижные картины. В центре каждой картины находился другой человек, придававший смысл композиции, сам же он везде выглядел оттесненным в сторону. Ему никогда не приходило в голову, что он шел по жизни куцей дорогой невостребованных возможностей, увлеченный своим делом, забывая обо всем, вызывая иронические улыбки знакомых, не способных, в частности, понять его робкую застенчивость. Профессия его вроде бы давала верную возможность завязывать интимные отношения с женщинами, ибо устраняла всякую условность, но для Квиникадзе больной был существом бесполом. И никогда ничто не могло повлиять на него, за исключением одного случая, который он скрывал даже от себя самого. Однажды госпожа Шуня по своему обыкновению без всяких объяснений ввела его в комнату Нино и безапелляционно велела Нино откинуть одеяло, чтобы врач мог осмотреть ее, и



взору Квиникадзе открылись два распустившихся бутона девических грудей, он смешался, покраснел, хорошо еще, что нашелся благовидный предлог — у него не было с собой фонендоскопа, и он поспешно вышел в другую комнату. Эта слабость не вышла за пределы той комнаты, и если подобное искушение возникало у него, он тотчас подавлял его каким-нибудь физическим действием, невольно отвлекавшим внимание. Это случалось прежде, а теперь отношение его было отеческим, хотя он старался, чтобы доставлявшая ему большое удовольствие скрытая забота о Нино оставалась незамеченной окружающими.

Хрупкого телосложения, он был, однако, здоровым человеком, болезни, обычно сопровождающиеся сильными болями, обошли его стороной, в детстве он счастливо избежал серьезных травм и ушибов, в молодости не ввязывался в драки и рискованные затеи. Однако собственное физическое благополучие не сделало его черствым, равнодушным, он живо сочувствовал больным, жаловавшимся на сильные боли, бережно ухаживал за ними, ибо в своем воображении легко ставил себя на их место. И как ни пытались больные выглядеть мужественными, сильными, они казались ему беспомощными младенцами. Добрый доктор всячески баловал больных, потакал их слабостям, прощал, считая естественными эгоистические капризы. Но совсем иначе относился он к этим людям в жизни, и тот из них, кто твердо и убежденно следовал своему назначению в обществе, представлялся ему олицетворением некой идеи, подлинным воплощением человеческого достоинства.

К невообразимому страху, овладевшему доктором с тех пор, как его выгнали в открытое поле, теперь, после малодушного поведения мохевца, добавилось чувство брезгливого отвращения. К нему вернулась способность суждения, важнейшее свойство, первейшая потребность человека — найти всему объяснение и логическое обоснование. «Ничего удивительного, — думал он. — Прав был офицер: раб труслив».

Квиникадзе всю жизнь не покидало предчувствие, что обыкновенные несчастья — это не все, что уготовило ему провидение. Солдатская масса на залитом солнцем поле представлялась ему грозной силой, при-

таившейся, чтобы разделаться с ним. Он догадался, что сейчас уже смотрит на происходящее не как посторонний, почувствовал облегчение и с радостью воспроизвел перед мысленным взором статичные картины прожитой жизни. Из этого состояния его вывел вопль офицера, мутный взгляд ввалившихся от страшной боли глаз, хлынувшая фонтаном кровь. Когда Квиникадзе услышал стон офицера, увидел, как покорно нагнулся он, взял лопату и начал ожесточенно копать одной рукой, все закружилось перед ним в пьяной круговерти, и ни в сочувствии к больным, показавшемся сейчас вздором, пустыми словами, ни в мужестве — ни в чем не мог он сейчас найти для себя опору, чтобы остановить этот бешеный вихрь. Вновь погрузился он в знакомый с детства жуткий, безбрежный, белый мрак. Потом из него понемногу стали выступать какие-то предметы, но это уже не имело никакого значения. Мелкая дрожь, волнами пробегавшая по всему его телу, с головы до пят, разом прекратилась.

— Кто еще не желает рыть?

Квиникадзе окинул мысленным взором этот неинтересный, опустошенный мир. Движения карателей были возбужденными, лица горели радостью, словно в ожидании праздника. Ему стало стыдно, как-будто его уличили во лжи, промелькнула удивленная мысль: «Неужели их радует, что человек — всего лишь вымышленное слово? Разве сами они зовутся иначе?»

— Неужели вас радует оскорбление самих себя?!  
— Произнесенный спокойным ясным голосом на фоне криков и воплей, в обстановке всеобщего раздражения и накаленных страстей, этот вопрос на мгновение ошеломил находящихся поблизости солдат.

Некоторые сочли это романтико-риторической выходкой, другие — соломинкой, за которую цепляется утопающий, большинство же солдат восприняли вопрос как глупость потерявшего от страха голову пленного и расхохотались. Им, ставшим сейчас полными хозяевами над жизнью и смертью, невдомек было, что жизнь, неразлучная со смертью, ищет романтическую форму, что именно эта форма несет в себе высший реализм, высшую истину. Квиникадзе еще раз обвел взглядом приговоренных к смерти, безмолвных, слов-

но онемевших, нагнувших голову, как кроты. Подвешенная на волоске тяжесть, готовая при малейшем неосторожном движении сорваться, увлекая его за собой, куда-то исчезла. Не веря себе, он закрыл глаза, обшарил все потаенные уголки своей души, как бы высвечивая их карманным фонариком, и ничего не обнаружил: всюду царило олимпийское спокойствие. Он ощутил безмерную легкость, как вольно парящая птица. Он часто видел такой сон, теперь этот сон стал явью. Квиникадзе поднял голову, взглянул на небо. Бескрайнюю лазурь окаймляла узкая пелена облаков. Верхний край облаков имел форму многоугольника, нижний же сливался с сияющим голубизной горизонтом. Квиникадзе надел очки. Темневшие посередине облака плавно двигались справа налево, но их белоснежные края оставались недвижимы.

Квиникадзе снимает очки, щурит глаза, всматривается и вдруг понимает: горы на горизонте — это же Кавкасиони! Какая красота! Снова надевает очки, демонстративно, вызывающе произносит: «Я не буду копать!» Голос его дрожит, но не от страха, а от радости. Он бледен, лицо озарено улыбкой счастья. Солдаты смеются, лысый тоже ухмыляется.

Вдруг с той стороны, где стояла телега, раздались крики, послышался топот коней. Это мохевец воспользовался моментом, вскочил на лошадь, которую выпрягли из телеги, и пытается спастись бегством.

— Держи его, дьявола! — кричит хозяин телеги, одетый в гражданскую одежду, вместе с солдатами преследуя беглеца. Мохевец, прижавшись к шее испуганной лошади, подгонял ее ударами пяток и все больше удалялся от преследователей. Солдаты опомнились, сообразили, что бессмысленно бежать вдогонку за ним, и начали палить из ружей. Вскоре лошадь упала и завалилась набок.

— Живьем его, змею подколодную, на кол посадим, на кол! — орала толпа преследователей. Мохевец вырвал ружье из рук у одного из солдат, кружась на месте, как ветряная мельница, заставил отступить первые ряды нападавших, и залег, воспользовавшись трупом лошади как укрытием. Солдаты взяли его в кольцо. Мохевец совершил вылазку, еще раз рассеял врагов, раскроив кому-то череп, но, не успев добе-

жать до укрытия, споткнулся, выронил ружье и рухнул на землю.

Несколько десятков человек сочли своим долгом нанести удар прикладом или пнуть ногой кровавое месиво, напоминавшее размякшую после дождя глину.

Солдаты подкатили к не вырытой еще яме пулемет и поспешно, без всяких церемоний, расстреляли пленных.

## ЧАСТЬ II

Прибывшему из Екатеринодара председателю ЧК и ревтрибунала Мине Васильевичу Тюхину предоставили кабинет в здании ревкома, на втором этаже, в конце коридора. Длинная полутемная комната имела единственное окно ближе к углу, так что когда открывали дверь, то проникавший через окно свет, пользуясь моментом, пытался выскользнуть вон. Неизвестно было, нарочно оставили одноглазой довольно просторную комнату или же это — результат позднейшей перестройки. На стуле, втиснутом между глухой стеной и письменным столом, сидел рослый мужчина, одетый в гимнастерку и длиннополое штатское пальто, и, опустив голову, курил папиросу. Справа от него на потертом кожаном диване сидел хмурый Гуров, тупо уставившись серыми глазами на сидевшего перед ним Семена Моисеевича. Полевой телефон звонил не умолкая, но никто не обращал на него внимания. Семен Моисеевич говорил, как всегда, складно и витиевато, но беспокойно ерзал в кресле, чувствуя, что толчет воду в ступе: то, о чем он рассказывал прекрасно было известно обоим слушателям. Но он все же продолжал говорить, надеясь, слово за слово, выяснит их намерения и, удачно вставив кое-какие соображения, принять участие в поисках выхода.

— Сегодня они присвоили себе право расстреливать, завтра, глядишь, еще на что-нибудь замахнутся, знаю я их. Ни мы, ни казацкая власть не в силах справиться с этой разнузданной ордой, а Екатеринодар прислал для пополнения личного состава батальона

ЧК совершенно негодный контингент, точнее, просто подонков. Я говорил об этом по телефону с реввоенсоветом...

— Никуда не годные на передовой часто оказываются превосходными мастерами-карателями, — проговорил, не поднимая головы, Тюхин.

Семен Моисеевич не понял, следует ли истолковать эту реплику как одобрение, но на всякий случай продолжил свою речь:

— Нет, возмутительно то, что он совершенно не посчитался с нами. Мы ему коня подарили, и какого коня, всячески старались угодить, а он в разгар переговоров внезапно уехал. Это форменный вызов. Не сказав ни слова, не сочтя нужным дать хоть какие-нибудь объяснения. Это вызов, я так понимаю, а вы как хотите. Да еще этого педераста прихватил с собой...

В неподвижных ледяных глазах Гурова что-то зашевелилось:— Говорят, давно он с ним сожительствует и, куда бы ни поехал, всюду таскает его за собой. Правда, что ли?

Семен Моисеевич был вовсе не расположен к сплетням, а вопрос Гурова почему-то воспринял как неуважение к своей особе.

— Меня не интересует, кто кого... — грубо отрезал он, припечатав нецензурную брань. Но Гуров не обиделся, наоборот, улыбнулся, словно услышал что-то приятное. Семен Моисеевич, довольный своим остроумным, как ему казалось, выпадом, возобновил прерванную речь: — Вторую теплушку ни в коем случае нельзя уступать. Корниловцы эти грузины или какая другая контра — мы сами разберемся. Если не проявим активность, постепенно вовсе перестанут с нами считаться. Да, товарищи, такова человеческая натура, — заключил он и посмотрел на Тюхина, потом на Гурова, словно ожидая возражений.

Но никто спорить не собирался. А советские организации располагали для активности следующими силами: в их распоряжении было три десятка милиционеров, снюхавшихся со спекулянтами провиантом, несколько передовиков-активистов (вернее, активисток, ибо большинство из них были женщины) и вновь сформированный батальон ЧК, пока что не справлявшийся со своими обязанностями. Чекисты имели за-



дание: выявлять работающих в советских организациях замаскировавшихся меньшевиков, левых эсеров и лиц духовного звания, выяснять степень лояльности самих коммунистов, беспощадно ликвидировать всех виновных, не допускать создания группировок. Следовало поощрять доносчиков, заботиться об агентуре, систематически проводить допросы, организовывать караульную службу, под предлогом бездействия милиции вмешиваться в функции следственной части и, по соображениям дисциплины, постепенно подчинить ее чрезвычайной комиссии, одним словом — осуществить действенный контроль над всей политической жизнью. Разумеется, все это наталкивалось на большое сопротивление, но ни один конкретный случай не носил характера кампании и не имел какого-либо четкого определения, когда в системе фраз, составлявших теоретическую базу новорожденного государства, было найдено подходящее слово — «ликвидация», которым прикрывалось любое насилие, неразборчивость в средствах для достижения цели. Оценка сомнительных мероприятий терялась в лабиринте схоластических рассуждений.

— Надо было немедленно расстрелять на месте именем ревтрибунала, — не унимался Семен Моисеевич.

— Какой же он коммунист? — спросил Тюхин.

— Липовый коммунист, многим нравится после революции быть революционерами, растут как грибы после дождя, — ответил Гуров, двусмысленно улыбаясь, и посмотрел на Семена Моисеевича.

Неожиданно Тюхин покраснел, смешался, встал, подошел к окну, вернулся, сел на стул, схватил трубку попискивавшего полевого телефона и почему-то сердито закричал:

— Что такое? Что случилось?

Семен Моисеевич изумленно посмотрел на Гурова, но тот не обратил никакого внимания ни на него, ни на поведение Тюхина.

По телефону сообщали, что на станцию прибыл отправляющийся на фронт вагон агитбригады, и испрашивали разрешения на выдачу провианта для дальнейшего следования.

— Пришлите руководящего товарища... — он хо-



тел сказать — «к нам», но передумал и подчеркнуто сказал: — ко мне, я Тюхин!

— Артистов нам только не хватало, мать их... — выругался Гуров.

— Прекрасно! — засуетился Семен Моисеевич. — Они нам пригодятся. Устроим концерт, соберем народ. Цирк, песни поднимают настроение. Это создаст впечатление устойчивости и благополучия.

Гуров тоже сообразил, что из этого можно извлечь пользу, только радость Семена Моисеевича почему-то вызвала у него раздражение.

— Так-то оно так, но и беды не оберешься, черт их знает, что могут натворить эти опьяневшие от крови солдаты.

— Дивлюсь тебе! — с преувеличенной иронией прервал его Семен Моисеевич, надменно вскинул брови и прищурился. — Именно поэтому надо переключить внимание солдат на что-нибудь другое.

— Они нам не подчиняются.

Семен Моисеевич попытался, не тратя слов, уничтожить Гурова взглядом, но тот демонстративно отвернулся. Тогда Семен Моисеевич взглянул на Тюхина, приглашая его в свидетели этой глупости, и, с трудом сохраняя спокойствие, снизошел до разъяснения:

— Не понимаю твоей логики, товарищ Гуров, ведь в этом заключается наша цель!

— Ерунда! Глупости!

— То есть как глупости? — вспыхнул Семен Моисеевич: он так все хорошо объяснил, а его грубо одернули. Лицо его, тонкое и нежное, приобрело суровое и от того неприятное выражение.

— Глупости! — упрямо повторил Гуров. Он ни в коем случае не был антисемитом, более того, при малейшем недоразумении, дабы не быть понятым превратно, всегда становился на сторону человека нерусской национальности и считал такую позицию правильным, партийным подходом. И все же его раздражал гонор собеседника, где-то в глубине он считал его энтузиазм вытекающим из других интересов, поэтому предпочитал обсуждать серьезный вопрос без него, а если это не всегда удавалось, придирался, порой бессмысленно, к чему-нибудь, повторял одно и то же и упрямо стоял на своем.

— Соберемся вечером, вместе с комитетчиками, — сухим деловым тоном разрядил обстановку Тюхин.

Гуров приготовился уйти. Семен Моисеевич встал, явно обиженный, вероятно оттого, что Тюхин не поддержал его в таком правом деле и поставил его на одну доску с этим болваном Гуровым. Он раздраженно отбросил назад полевую сумку, и в этот момент его самолюбию был нанесен еще один удар. Тюхин раздавил в пепельнице окурок, встал, подавив обоих своей громогласностью, и обратился к Гурову:


— Останься, товарищ Гуров, дело есть.

Гуров догадывался, что и председатель ЧК не жаловал этого хитрого и бесцеремонного комиссара, и ему стало приятно, что Тюхину захотелось поговорить с ним как председателю с председателем, как партийцу с партийцем, да и, наконец, черт побери, как русскому с русским.

— Что, уж не допрашивать ли меня будешь? — пошутил он.

В первое время существования ЧК военная администрация относилась к ней иронически-терпимо и в то же время осуждающе, но уже очень скоро подтекст такого отношения — жандармерия есть жандармерия, как ее ни называй, — сменился страхом и почтением. Никто больше не осмеливался отпускать шутки и намеки по поводу выслеживания контрреволюционеров: ведь любой сотрудник ЧК мог обвинить в чем угодно, попробуй потом оправдаться. Роскошь фамильярного обращения с чекистами пока еще могли позволить себе высшие должностные лица как привилегию безупречных деятелей революции.

Тюхин подошел к окну. В комнате стало довольно темно. Недовольный собой, он хотел вернуться к недавнему разговору, но после шутливого вопроса Гурова передумал. «Еще подумает, что и вправду для этого велел ему остаться... И все же, почему он решил, что, говоря о липовых коммунистах, намекали на него? Вот дурацкая мысль!» Он знал, как верил ему Гуров, каким образцовым коммунистом был он в глазах Семена Моисеевича. «Идиотизм и больше ничего... Гуров иногда сидит так, уставившись, как сыч... Да нет, он действительно глубоко уважает его. И причем тут его биография? Правда, он бывший офицер цар-



ской армии, и то во время войны. Но ведь сколько военных — кадровых офицеров царской армии в прошлом — сейчас служат советской власти. Четвертый год уже; как он связал свою жизнь с революцией — с большевистской революцией, и заслуги имеет немалые в этом деле...»

Когда стихли шаги Семена Моисеевича, Тюхин сказал:

— Казацкие старшины тоже затевают заговор, послезавтра собираются на хуторе. Демобилизованные солдаты притащили домой пропасть пулеметов и винтовок. Есть предположение, что и до них дошло выступление патриарха Тихона, казаки — народ верующий.

— Завтра у купца Сергеева соберутся несколько гражданских и духовных лиц, говорят, раненый белогвардейский офицер привез воззвание Тихона.

— Правда? — Тюхин резко обернулся.

— Говорят, значит, не врут.

— А мы не сумели провести национализацию церковного имущества и монастырских земель. Ленин двадцатого января подписал декрет, а сегодня девятое апреля! Завтра же всем батальоном сделаем налет на квартиру Сергеева, если окажут сопротивление, сотрем в порошок.

— Зачем нам целый батальон, вполне достаточно будет десяти человек. Какое там сопротивление, самое большее — офицер успеет разок выстрелить.

— Ни в коем случае! Там, где у нас есть сила, непременно надо действовать массированно! Это отобьет всякую охоту к сопротивлению!

Наступило молчание. Гуров ждал, что скажет Тюхин, а Тюхин, чтобы развеять неприятное впечатление, которое, возможно, осталось у Гурова, когда он так нелепо покраснел, и чтобы испытать себя, переспросил:

— Так ты говоришь, коммунисты растут как грибы?

Но Гуров или не понял, или нарочно, чтобы успокоить его, не придавал значения этим словам, не откликнулся на вызов. Ровным, скучающим тоном, в котором нельзя было заметить и тени двусмысленности, он произнес:

— Что ж, может, так будет лучше, кто знает?

Тюхин расправил плечи и, довольный, снова заговорил о делах:

— Казаков надо ошеломить какой-нибудь большой дерзостью.

— Чем же все-таки?

— Все равно... Глупостью. Самая большая дерзость — всегда глупость.

— А я думаю, не будет глупостью привлечь казаков к участию в налете на дом Сергеева. Надо, не мешкая, сегодня же пригласить для переговоров их старшин или самим навестить их на хуторе. Да, вероятно, так будет лучше, словно мы ничего не знаем. Склоним к участию в операции пусть даже небольшую группу, хотя бы несколько человек. Как будто не сомневаемся в их верности, пообещаем какую-нибудь должность, черт с ними, введем пока в состав исполкома. Вот увидишь, растеряются, тем более что в их рядах нет единодушия.

Мина Васильевич Тюхин происходил из семьи российских дипломатов. Предки его с древнейших времен служили в посольствах и московских приказах. Отец его — Василий Васильевич Тюхин по прозвищу Василий Великий напоминал богатыря из сказки. Мина был похож на отца, правда, не был таким высоченным и ширококостным, но и он щедро унаследовал природную тюхинскую статью и силу. Василий Великий нарек своего единственного сына Миной в честь жившего в царствование Ивана Грозного некоего дьяка Мины — первого представителя их фамилии, упомянутого в русской летописи. В детстве в московском доме, одно время превращенном бабушкой Ильиничной в семейный музей, Мина любил оставаться в большой гостиной наедине с портретами предков, глядевших на него из золоченых рамок, и мог часами смотреть на них. Отличавшихся возрастом и одеянием, их на первый взгляд объединяло общее выражение строптивости, упрямства, за которым, если всмотреться, можно было разглядеть, подобно едва мерцающей далекой звезде, скрытую мысль, какую-то невысказанную тайну.

Председатель ЧК Тюхин при первой встрече принял товарища Гурова за какого-то знакомого, потом

решил, что, вероятно, где-то случайно встречал его и запомнил лицо. И только теперь догадался, что этот человек напоминает ему чем-то пристальный взгляд с портретов его предков.

— Что ж, — усмехнулся Мина, — попытаем счастье. — Задумался и добавил: — Семен Моисеевич прав, Кислякова надо ликвидировать. Это необходимо! Удалим его от солдатской массы, заманим куда-нибудь... Видимо, в чем-то мы допустили ошибку...

— Не поверил, сука, что мы ждем наступления на город добровольческой армии!

— Да, видимо, располагает сведениями с фронта.

Гуров в душе винил в этом Семена Моисеевича, подозревая, что тот по дороге выболтал что-то Кислякову, но сейчас счел неуместным говорить об этом.

— Во время переговоров с казаками этот вопрос будет иметь большое значение: весть о наступлении добровольческой армии должна подействовать, как занесенная над головой дубинка. О том, что они могут проверить, упоминать не станем.

Тюхин улыбнулся, но больше своим мыслям, чем словам Гурова. Было время, когда он думал, что ум, интеллект ученого или полководца так же отличается от ума мужика или солдата, как цветущий сад — от заброшенного пустыря. А теперь сообразительность, смекалку простого народа ставил гораздо выше учености гнилой интеллигенции, и каждое конкретное доказательство правильности такой оценки доставляло ему особое удовольствие.

— Семен Моисеевич прав и в том, что оставшихся корниловцев нельзя ни в коем случае уступать солдатскому совету.

Кто-нибудь другой мог бы подумать, что Тюхин, то и дело с усмешкой похваливая Семена Моисеевича, хочет рассердить Гурова, кто-нибудь другой — только не Гуров. Несмотря на то, что Тюхины веками не знали физического труда, в их облике все же сохранилось что-то крестьянское, какая-то внешняя простота. А в этой знакомой стихии Гуров чувствовал себя как рыба в воде. Он почти во всем соглашался с Тюхиным, а если иногда возражал, то очень осторожно, так как опасался вспыльчивости Мины Васильевича, да и не-



которые его фигуральные выражения понимал с трудом.

— Надо из теплушки немедленно запихнуть их в бараки, — продолжал Тюхин.

— Там места нет, и охраны у нас мало, одни женщины.

— Тогда надо придумать какую-то форму наказания. Публичный расстрел лишен дополнительного эффекта неопределенности, ореола таинственности, скрытой мести, терзающей сильнее, чем страх смерти. Кроме того, публичное наказание способно не только вразумить обывателя, но и поощрить, толкнуть к активности протеста. Знаешь, Гуров, во время французской революции якобинцы проиграли еще и потому, что дали возможность противнику представить, как трагически прекрасен он будет на гильотине.

— Правильно, никакие они не больные, эти грузины, но, вероятно, и не корниловцы, — Гуров не желал уходить от конкретного разговора.

— Это все равно, Гуров, это все равно. Главное — монополизировать страх. Победит тот, кто будет беспощаднее!

С этим Гуров охотно согласился, ибо сам всегда думал так же. По просьбе Тюхина он подробно охарактеризовал казацких старшин, уделив особое внимание есаулу Матвееву — алчному, честолюбивому, изворотливому временщику, а следовательно, человеку нужному. Поговорили и о настроении коренных кубанцев.

— Мы должны опираться на бедняцкие массы, на неимущих, — настаивал Тюхин.

— Этот лозунг пока не выстрелит.

— Дело не в лозунге, просто такова человеческая психология: ты имеешь, я не имею, естественно, я тоже хочу иметь, и если это могу получить просто, быстро, без труда и с помощью других, то почему же мне не поддержать тех, кто меня поощряет?

— Здесь нет пролетариев, а у каждого крестьянина что-нибудь да есть, и терять он это не хочет. Никто не живет одинаково плохо или одинаково хорошо. Так что влиянием среди кубанцев пользуются богатые, крепкие семьи. Но и здесь можно найти присыпанную землей щель. Зависть и близнецов делает вра-

гами, а повод всегда найдется: неудовлетворенное честолюбие или что-нибудь другое, скрытое или явное. Поэтому надо прежде внести разлад в их ряды, обнажить щель и временно помочь «перспективным», — Гурову никак не удавалось произнести это слово правильно.

— Когда пер-спек-тив-ные, — нарочно по слогам произнес Тюхин и продолжал скорее вопросительным, чем утвердительным тоном, — победят, мы столкнемся с усилившимся врагом?!

— Дело как раз в том, что мы будем вместе с ними и попутно позаботимся о постепенном истощении их сил. Вот тогда-то и используем бедняцкие массы: к тому времени зависть у них вполне созреет.

— По твоим словам выходит, что мы должны установить контакт с бывшими царскими офицерами и кулаками?

— Не со всеми, и временно...

Тюхин заранее знал, что ответит Гуров, но не мог отказать себе в удовольствии и спросил:

— А потом?

— А потом — пинком под зад.

Оба рассмеялись.


— Значит, вечером отправляемся на хутор.

Гуров столкнулся в дверях с худощавым человеком средних лет, выглядевшим довольно странно: длинные манжеты, под мышкой — трость...

— Бах, бах, бах, бах! — нацелил он трость на Тюхина, затем повернулся к остолбеневшему в дверях Гурову и его тоже «срезал» из своего «пулемета». Тюхин и Гуров недоуменно переглянулись.

— Бредем это мы однажды по проселочной дороге, — начал с места в карьер вторгшийся посетитель, — останавливаем телегу. Посылаю на разведку Отелло. «Товарищ начальник, в лесу белый разведчик». «Немедленно доставь его сюда!» — приказываю. «А он меня не пускает!» — пищит Отелло. Ох, Отелло, Отелло! — патетически закончил он свой рассказ, проверил, какое впечатление произвел на слушателей, еще раз изобразил пулеметную очередь из трости, затем трость плавно соскользнула у него с плеча, и он стал быстро и ловко вертеть ее между пальцами. — Думаете, только вы умеете стрелять?.. Шутки в сторо-





ну, почтенное общество, — осклабился посетитель, — вы не имеете права задерживать мой театр. Знаете, какой это театр? Разве торчали бы мы здесь, если бы у так называемых столичных отцов театра была хоть капелька ума? Интриги театрального мира, знаете ли... Не дают дорогу подлинным талантам. В общем, это длинная история.

— Извините, о каком театре речь?

— То-есть как о каком театре! Мы едем на фронт, прямо на фронт.

— Так вы представитель агитпоезда? — наконец сообразил Тюхин.

— Не представитель, а руководитель — Константин Ор, настоящая фамилия Орлов.

— Пока не можем вас пропустить, связь с Екатеринодаром прервана, — возвратился в комнату Гуров.

— Почему же нас направили сюда, если не знали, где что прервано и кто от чего оторвался. Кстати, однажды случилось такое: начинается четвертый акт, в зале гаснет свет, все ждут, когда поднимется занавес, а сценарист бегает, ищет исполнителя главной роли: не может найти. Тут вваливается пьяный осветитель... А раз... — У Ора по лицу разлилось блаженство, видно было, что он только-только вошел во вкус и готов рассказывать без конца.

Внезапно Тюхин вскочил, стукнул кулаком по столу и гаркнул так, что задрожали стекла:


— Сидеть!

Константин Ор упал в кресло, словно его ударили по голове, и, опасаясь худшего, уставился на Тюхина округлившимися, остекленевшими глазами.

Гуров весело следил за происходящим. Тюхин связался с кем-то по телефону, строгим голосом задал Ору несколько вопросов. Окончательно сникший Ор послушно отвечал. Выяснилось, что в агитбригаде всего восемь человек, из них одна женщина — жена Ора, три актера, один музыкант, игравший на скрипке, гитаре и гармонии, и три стажера.

Тюхин предложил Ору устроить завтра какое-нибудь представление и велел Гурову отвести его к Семену Моисеевичу для подробных переговоров об условиях.

— Ах, Семен Моисеевич? Я уже был у него, он



направил меня к вам. — Ор вскинул изогнутые брови, прищурил глаза, принял надменно-горделивую позу и стал очень похож на Семена Моисеевича. Гуров рассмеялся. Осмелевший лицедей льстиво улыбнулся Тюхину, но на этот раз вместо трости прицелился в него вытянутыми пальцами, изображая револьвер, и прокричал: «Бах! бах! бах!». Гуров со смехом легонько вытолкнул его из комнаты и закрыл за собой дверь.

К полудню установилась прекрасная погода. Теплый, прозрачный, чистый воздух радостно трепетал под лучами солнца.

К теплушке, в которой находились грузины, подошли несколько человек, вооруженных винтовками. Долговязый, сутулый, в высокой шапке и шинели объявил грузинам, словно хотел обрадовать, чтоб они приготовились, так как их переводят в городскую тюрьму. Это вызвало страшный переполох, стоны, плач, причитания, так что стражникам пришлось успокаивать пассажиров: нет, разъясняли они, не совсем в тюрьму, а в ЧК, там вас допросят и, если вы честные люди, — отпустят. Арадэли тяжело задумался. Не нужно было быть провидцем, чтобы сообразить, что у этих вознесшихся по воле рока людей не было ни времени, чтобы отличить белое от черного, ни знаний и охоты, чтобы создать хотя бы примитивную видимость правосудия, ни тюрем, ни судов. Поэтому, если кто-нибудь попадал им в руки, они стремились поскорее избавиться от него, то есть или расстрелять, или отпустить. Но в бывшей Российской империи закон, правосудие, верность, бескорыстие, патриотизм, борьба за добро были извращены до крайности, так что наивным легкомыслием было бы полагаться исключительно на добрую волю ЧК. Такая атмосфера для Арадэли не была непривычной: он и сам никогда свои помыслы, действия, их последствия не сообразовывал с требованиями общественных или государственных механизмов, а всегда поступал, полагаясь на какую-то стихийную силу, худо ли, хорошо ли, в согласии со своей совестью, преодолевая жизненные бури. Он и сейчас беспокоился не о себе, его волновала судьба Нино. Между тем времени на размышление не оставалось, что-то должно было произойти здесь и немедленно. «Трое крепких, ловких




1619359-00  
518-1119039

ребят легко разоружат этих недотеп, их всего-то тут человек десять». Он искал глазами Ираклия Ишхнели, но, увидев его непокорный вид, преувеличенно подчеркиваемую хромоту, рассчитанную на сочувствие, сразу все понял. Он обвел взглядом остальных конвоируемых грузин. Два монаха в клобуках. Краснощечный, седой, неуклюжий мужчина в синей чохе, растерянный, перепуганный. У него вытащили кинжал, и он даже не подтянул к поясу болтающиеся между ног ножны. Рядом шел высокий черноволосый бородатый человек в бархатной блузе и гетрах, но он с такой готовностью отзывался на каждый окрик конвойных, так старательно исполнял любое их приказание, так угодливо обнажал в улыбке крупные белые зубы, что и на него не приходилось надеяться. Женщины, студент и Захария Авалишвили, конечно, не в счет, как и несколько грузин, всецело озабоченных своими чемоданами и прочим скарбом, а также, разумеется, старики, с трудом поспевавшие за процессией, двигавшейся довольно медленным шагом.

Арадэли вспомнил о Буцхрикидзе, но того нигде не было видно, не иначе как он удрал вчера, когда отправился за нарзаном. Медлить нельзя, надо что-то предпринимать именно сейчас, пока Нино здесь, рядом с ним, потом, когда их запрут в темнице, будет поздно.

Встречные горожане останавливались и провожали взглядом идущих грузин, как обреченных. На фоне бедно одетых прохожих пленные грузины выглядели весьма импозантно. Особенно выделялась госпожа Шуния. Она шествовала величественно, одетая во все самое лучшее, что у нее было, и украшенная всеми драгоценностями, какие удалось спасти. К синей бархатной с золотым шитьем шляпе была приколата большая булавка из рубинов и жемчуга. Лиф темно-вишневого атласного платья отливал золотом, рубинами и жемчугом, кружева на платье были усыпаны мелкими жемчужинами, сверкавшими, как снежинки. Инкрустированная эмалью брошь в золотой оправе придавала блеск молодости большим серым глазам госпожи Шунии, а красиво уложенные седые волосы и прозрачная белая накидка подчеркивали солидность и благородство лица и осанки.



Валико много раз в жизни имел возможность убедиться, что судьба благоволит каждому по его способностям, но пленные пересекли уже половину города, вот-вот дотащатся до тюрьмы, а он все никак не мог ничего придумать. Прямолинейный план — прорваться сквозь конвой и уйти от погони — не сулит успеха. Ответственность навалилась на него тяжелым камнем, тихо подкрались сомнения, все настойчивее овладевала мысль: сколько совершал он отчаянных поступков, презирая опасность, просто так, удалства ради, так неужели сегодня, сейчас, когда он нашел свою судьбу, удача отвернется... Потом снова мобилизовал пошатнувшуюся было волю, остроту мысли, поняв, что, поддавшись колебаниям, наверняка погибнешь. Он затаился и стал пристально наблюдать за действиями конвойных. Четыре солдата сопровождали пленных слева и четыре — справа, один солдат с ружьем шел впереди и один, тоже с ружьем наперевес, замыкал колонну. Долговязый в высокой шапке появлялся то с одной, то с другой стороны, словно погонял овец. Из открытой брезентовой кобуры на поясе у него торчал бельгийский браунинг. Валико шел рядом с Нино в последнем ряду. На плече он нес большой, сшитый из ковровой ткани мешок Ишхнели, обхватив его правой рукой, слева его держала под руку Нино, доверившись каждому его движению. Мысли Арадэли с равномерной ритмичностью будильника двинулись к намеченной цели, чтоб в нужный момент подать сигнал тревоги.

Долговязый обойдет вокруг колонны и приблизится на расстояние четырех-пяти шагов к вяло бредущему замыкающему солдату, которого в этот момент Валико оглушит мешком по голове и свалит с ног. Долговязый успеет сунуть руку в кобуру, надо опередить, вывернуть ему запястье, отнять оружие и поднять стрельбу. Возникнет паника, переполох, и тогда Нино незаметно отойдет в сторону... Снова захлестнуло сомнение: успеет Нино убежать? Они ведь наверняка прямо в нее выстрелят... Хоть бы появилась на дороге лошадь, всадник или коляска... Нино сжала его локоть, но той отчаянной ее решимости, которую он почувствовал на рассвете, сейчас Валико не ощутил. Быть может, это прикосновение подсказывало



ему какую-то здравую мысль, может, оно означало ласку, желание успокоить. Валико быстро взглянул на нее. Нино была бледна, но лицо ее дышало счастьем. План Арадэли, горевший у него в голове, как зеленый свет семафора, тотчас погас. Он понял, что они должны положиться на судьбу, так хотела Нино. Шедший впереди их Чкония закричал во всеуслышание, как рассерженный учитель:

— Арадэли, не делайте глупостей, из-за вас всех нас перестреляют!

— Так уж и перестреляют! — отозвалась госпожа Шуния.

— Эй, разговорчики! — вмешался Долговязый.

— Проходи и не командуй, каланча проклятая! — госпожа Шуния прикрикнула на Долговязого так уверенно и надменно, что с того разом слетел весь гонор и суровое выражение, и он виновато перешел на другую сторону, как побитый деревенский мальчонка.

Постоянные грубость и притеснение, гнетущая обстановка угроз и подозрения истощили терпение госпожи Шунии, вместо страха и покорности возбудили в ней воинственный дух. Она словно даже радовалась, что ее ведут туда, где можно будет, как казалось ей, без обиняков бросить всем в лицо очевидную, простую истину: «Из тухлых яиц не испечь доброго пирога — идя дорогой зла, не придешь никуда, кроме как в царство зла». Она ни минуты не сомневалась, что ее выслушают и не посмеют провести в споре. Мысль о другой опасности, подобно коршуну кружившей над ее головой, она решительно отметала, суеверно не позволяя себе даже упоминать о ней. И если раньше она старалась только Ираклия уберечь от беды, то теперь забота обо всех беспомощных перепуганных соотечественниках стала ее потребностью.

Ираклий еще в Ростове избавился от военного френча без погон и надел блузу с накладными карманами, разом утратив военную выправку. Несколько раз, борясь с паническими настроениями, он пытался припомнить какой-нибудь храбрый, мужественный поступок, совершенный в прошлом, хотя бы во время пребывания на фронте, но мысли о прошлом никак не помогали забыть о настоящем, а главное — вспомнить-то было нечего: в ночь перед выходом на передо-



ՀԱՐԱՅԵՅԻ  
ՀՈՂԱՅԻՆՈՒԹՅՈՒՆ

вую его мучили кошмары, утром случился понос. Подчиняясь царившей в полку приподнятой атмосфере, он вынужден был держать себя в руках, но все же ни чрезмерная веселость, ни вроде бы беззаботное позевывание не могли скрыть его нервного возбуждения. Во время боя забота о спасении своей жизни вытеснила мысль о возможном несчастном исходе, страх сменился инстинктом самосохранения. Спокойным и счастливым он почувствовал себя только в госпитале. А теперь, оказавшись среди людей, охваченных жаждой насилия, столкнувшись с массовым безумием, он увидел, что человеколюбие, это сокровище, венец многовекового духовного развития, сметено напрочь разгулом эгоистических страстей, и отныне даже несколько христианских поколений не смогут обратить к свету и добру души этих озверевших созданий. От его патриотизма, идеализма, благородных устремлений не осталось ни следа. Ираклий сник, потерял интерес к активному мышлению, он чувствовал себя загнанным в мрачную пещеру, из которой нет выхода.

— Перестань, мама, воздержись от своих нападок, не раздражай их, Лади прав, от них всего можно ожидать, — нервно прошептал он матери.

— Они сделают с нами то, что задумали, ни больше, ни меньше, — громко ответила госпожа Шуня. Некоторое время она шла молча, потом, как бы в свое оправдание, добавила: — Уж и поговорить нельзя, чтоб их разорвало!

Валико часто думал, что все в мире predetermined заранее, каждому живому существу и явлению, природе и вещи Бог дал свое предназначение. Также и человек создан для какой-то мысли, и смысл жизни человека как разумного творения состоит, вероятно, в том, чтобы осознать свое назначение, следовать ему и, исполнив свой долг, вернуться туда, откуда пришел. Такой взгляд вроде бы упорядочивал все происходящее, но сам Арадэли ничего не смог бы сказать о своем назначении. Он только все ждал, ждал какого-то знамения, но время шло, а никакая благодать не осеняла его. Потом вдруг острая, жгучая, опустошающая мысль сотрясала все его существо, швыряя, беспомощного, уничтоженного, к высящимся до небес, замкнутым великанами, таинственным вратам



истины: «А может, все тщетно, призрачно и случайно, может, нет ничего в этом мире, и нет у него никакого предназначения?!»

После того, как Нино мягко сжала его локоть и Валико решил отдаться на волю судьбы, он подумал, что их встреча не могла быть случайной. А если его призвание — обыкновенная человечность, создание семьи и, таким образом, передача божественной эстафеты? Удивительное творение человек, как легко убеждает он себя в том, во что ему хочется верить. Сейчас мысли Валико потекли в обратном направлении. В самом деле, зачем бежать, подвергая себя огромному риску? Чего ради? На руках у них документы, подписанные советской властью. В чем могут обвинить больных, женщин и стариков? А главное, кому они нужны?

Откуда-то надвинулась огромная, черная, как деготь, туча, и, разрастаясь, заволокла все небо. Налетел ветер, хлынул ливень. Конвойные и не попытались удержать пленных на одном месте, но побежавшие по улице потоки в одну минуту превратились в реки, поднялись, вздыбились, слились воедино, и вскоре море воды покрыло всю сушу. Одна за другой на поверхности показались головы пленных и стражников. Долговязый, не умеющий плавать, громко звал на помощь. Валико схватил его за ворот и взвалил на большой пустой деревянный чемодан. Другие тоже старались помочь друг другу. Быстрое течение закружило всех и помчало куда-то вдаль. Наконец дождь стих, вода стала убывать и вскоре совсем спала. И бывшие пленные и стражники очутились лицом к лицу на безлюдном островке. Испытывая неловкость, они смущенно улыбались друг другу, не зная как быть дальше, не в силах вспомнить, кто кому какие предъявлял требования, кто кого куда должен был доставить. Валико взвалил мешок на плечо, поправил его, сжал руку Нино, посмотрел ей в глаза с улыбкой, полной надежды и уверенности. Нино ответила ему ласковой улыбкой, любуясь его высокой, сильной шеей, курчавой бородой, скрывшей за эти дни шрам на его щеке, открытым благородным лбом, красивым профилем с легкой горбинкой, живыми карими глазами, ровными белыми зубами без малейшего изъяна. Молодой



женщиной овладело незнакомое ей прежде чувство, словно, радостная, возбужденная, подгоняемая ветром, она вот-вот оторвется от земли. Ее семья по каким-то непреложным законам природы осталась где-то далеко-далеко, никак не связанная с ней. Находившиеся рядом люди казались Нино некими бесплотными существами. Она думала только о Валико, нет, не думала, а видела его, реально воспринимала, следовала за ним. Нино была уверена, что их расстреляют. Но разве это не счастье — избежав напрасной смерти, принести себя в жертву и хотя бы в смерти обрести смысл жизни? Что может быть желаннее исхода, явившегося в столь чудесном образе? Да, нынче или завтра, наверно, наступит конец. И все же впереди еще целая вечность. Чем определяется время? Поцелуй у вагонного окна — разве он не длился годы и годы? И разве не одним мгновением была ее прошлая жизнь — однообразное, тягучее существование, служение ничтожным интересам? И вообще, после всего, что уже произошло, разве удалось бы наладить новую жизнь? Даже воспоминание о дочери, болью отзывавшееся в сердце, вдруг показалось не таким тягостным: ведь Кети наполовину росла у чужих. В конце концов, человек должен умереть, расстаться со всем. Так не лучше ли уйти из жизни сейчас, вместе с ним, с тем, кто подаст ей надежду, поддержит, будет гордиться ею, разделит, в полном смысле слова, ее участь? Вместе идут они, рука об руку, удивительная радость, смешанная с болью, наполняла легким возбуждением все ее существо. Каждая капля жизни оставляла сладкий и кисловатый привкус, сейчас она свято верила, что их вечная судьба, сущность бессмертия их душ в этом стремительно-легком парении. Подступивший вплотную призрак смерти, его жаркое дыхание хмелем ударяло в голову, рождая бесшабашную радость. Прежде Нино редко задумывалась о смерти, не старалась довести эту мысль до конца. Так казалось легче жить, хотя она и понимала, что идя этим путем, никогда не достигнет совершенства, никогда не станет по-настоящему свободной и независимой. Поэтому сейчас она торжествовала, дивясь, как естественно, более того, с каким радостным, лихорадочным



возбуждением приняла она эту, некогда наводившую ужас мысль.

Процессию остановили у длинного желтого двухэтажного здания. Шедших впереди коновойных встретили военные. Долговязый что-то доложил им, и пленных завели в большую комнату на втором этаже. Увидев в комнате стол и стулья, Валико вместе с Нино встал у окна, глядя сверху на раскинувшийся перед ним бескрайний простор. Он представил себе Нино в более человеческой, домашней обстановке, ощутил какой-то неясный трепет и безотчетно дал увлечь себя мечте, подобно ребенку, который начинает рисовать, потом, плененный красками, только смешивает цвета, совершенно забыв, что хотел нарисовать. Валико и Нино, уверенные, что никому до них нет дела, почти никого и ничего не замечали, только глядели друг на друга, угадывая без слов и исполняя малейшие взаимные желания, ловя каждый удобный момент, чтобы прижаться друг к другу. Импульсивные движения грузин, тревожное любопытство, с которым они ждали скрипа открываемой покореженной двери, их озабоченный, осторожный шепот, напряженные нервы — все это усугубляло таинственность надвигавшегося. Слова, которыми обменивались Нино и Валико, почти не имели отношения к тому, что их окружало, они даже не замечали, что переговариваются, им казалось, что этот заколдованный мир всегда был и пребудет бесконечно.

Послышался шум, и в дверях показался одетый в матросскую форму человек с перекошенным лицом. В руках он держал список. Его окружили, просили позвать главного начальника, чтобы он объяснил им, как с ними собираются поступить. Для пленных матрос, рабочий, командир или солдат — все они были на одно лицо, на котором читалось упоение властью, сознание серьезности происходящего, заведомая уверенность, что враг — не человек. И действительно, окружавшие их люди походили друг на друга: они были детьми одной матери — революции. Матрос грязно выругался и так хлопнул дверью, что пленные онемели. Госпожа Шуния, при виде такой переходящей все границы низости и хамства, страшно побледнела, с ней едва не сделалась истерика. Она с трудом сдер-



34105940  
3182010133

жалась, чтобы не расцарапать рожу этому звероподобному матросу.

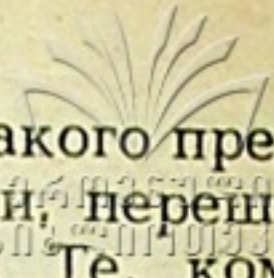
— То-то, привыкай к морскому порядку! — произнес матрос в наступившей тишине. — Кого буду вызывать, забирай свои манатки — и за мной!

Первым в списке и на этот раз был Арадэли.

Погода благоприятствовала, и Константин Ор решил превратить теплушку в сцену, а платформу — в амфитеатр. Революция увлекала его большим масштабом, движением народных масс. Он был, представьте, сторонником массового театра, обращенного к широкой аудитории. Разве могли понять его столичные снобы — поклонники элитарного театра? Истинным призванием артиста сейчас он считал освоение духовной целины народных масс, приобщение их к прекрасному. Он не сомневался, что все, чем он занимался или из-за превратности судьбы вынужден был заниматься, — временно, надеясь, что придет его час и он создаст монументальный театр, не имеющий предшественников. И тогда, овеянный славой, он прибудет в столицу, и перед ним склонятся отцы театра и провозгласят его гением, а он воспримет это равнодушно, как должное.

Платформа была удобна еще и тем, что материал для реквизита, костюмов и декораций нашелся здесь же, в теплушке, и не надо было ничего никуда перетаскивать. Кроме того, если их застигнут сумерки, можно будет освещать сцену паровозными лампочками.

К четырем часам платформу заполнили зрители: рабочие и служащие железной дороги и несколько горожан, а главное, Кисляков со своими солдатами. Выделявшийся красной повязкой милиционер и рабочие-активисты вынесли из здания станции четыре стула и поставили их в первом ряду для Кислякова и третьего верзилы, гармониста, а один стул остался незанятым. Остальные зрители расположились на деревянной платформе: кто опустился на корточки или сел, другие, положив голову на колено соседу, полулежа, задымили махоркой. Большинство солдат разве что на именинах или на ярмарках видели ряженых скоморохов, деревенских акробатов и вертепных ку-



кол, а о драматическом театре не имели никакого представления. По этому поводу они балагурили, перешучивались, подтрунивали друг над другом. Те, кому доводилось видеть что-то, отдаленно напоминающее театральное представление, старались подчеркнуть свое преимущество, некоторые, желая скрыть волнение, вызванное ожиданием необычного зрелища, вели себя развязно и грубо невпопад ругались. Некоторые же, опасаясь, нет ли тут какого подвоха с этим «театром» или как его, черта, называют, корчили из себя знатоков и искали еще больших профанов, чем сами, чтобы высмеять их. Но все это оставалось внешним проявлением чувств, на самом деле всеобщее внимание было приковано к открытой настежь теплушке с загадочно колышущимся занавесом аляповато-желтого цвета.

До начала представления перед занавесом появился Семен Моисеевич, откашлялся, принял обычное суровое выражение, оглядел аудиторию, сделал замечание двум-трем солдатам и только после того, как наступила тишина и все зрители обратились в слух, начал говорить. Речь свою он построил по коммунистическим шаблонам, ничего другого ему не могло прийти в голову. Он подражал ходячим, но уже узаконенным схемам, которыми пользовались большевики по классическим формулам демагогии: оправдание действий в настоящем проклятым прошлым и светлым будущим. Семен Моисеевич клял и поносил свергнутый царский режим, а заодно и Временное правительство, славил и превозносил Октябрьскую революцию, между прочим указал и на «небольшие трудности текущего момента», причиной которых назвал, разумеется, тяжелое наследие царизма, коварные происки мирового капитала и врагов народа — белогвардейских контрреволюционеров, но, уверял он, скоро всему этому будет положен конец, и врата рая откроются тотчас, как только победим в гражданской войне. Речь свою он закончил призывом: «Да здравствует мировая революция, ура!».

Нельзя сказать, что зрители единодушно подхватили здравицу, но грянувший из-за занавеса под аккомпанемент гармонии «Интернационал» воодушевил людей, и вся платформа подхватила песню. Довольный



УДК 82(07)  
ББК 84.001.01

собой, своим личным влиянием, Семен Моисеевич постепенно сошел со сцены и сел на свободный стул рядом с Кисляковым. Как только закончилось пение, энергично раздвинув занавес, вперед выступил одетый в черное Константин Ор и отвесил поклон зрителям, затем, закинув вверх руки в белых перчатках, громким голосом объявил: «Революционная пантомима». Из глубины теплушки послышались звуки настраиваемой гитары, и вскоре полилась мелодия русской народной песни. Ор сперва проворно раздвинул одну половину занавеса, затем кинулся к другой и увлек ее на бегу за собой. На сцене показалась живая пирамида. По обе стороны артиста, одетого рабочим, на полу лежали крестьянин и крестьянка, и он протягивал к ним руки. На шее у него сидел полицейский. Тут же показался поп в рясе. У артиста, изображавшего попа, было очень худое лицо, тонкая длинная шея, костлявые плечи, а спереди под рясу, видимо, подложена подушка, изображавшая огромное брюхо. Поп жестом бесстыжей девки задрал рясу до колен, разбежался и вспрыгнул на полицейского, но не удержал равновесия и едва не упал, полицейский же подхватил его рукой, и поп, улыбаясь, повис на нем, как мешок. Почувствовав себя в безопасности, он устроился поудобнее, обхватил голыми до колен раскоряченными ногами живот полицейского и захрапел. На платформе стояла такая тишина, солдаты в ожидании чего-то чудесного были так сосредоточенно-хмуры, что стоявший в углу сцены Ор не выдержал и крикнул зрителям: «Смейтесь, товарищи, не бойтесь, смейтесь!».

Ор ловко прыгнул на плечи попу, сбросил накидку. Во фраке и цилиндре он изображал капиталиста-миллионера. Музыка смолкла. Послышался стон рабочего и крестьян, заглушенный полицейским свистком и «аллилуйей» попа. Капиталист в это время жонглировал тремя толстыми пачками денег.

— Бросай сюда, поймаем, — крикнул кто-то из зрителей.

— Это керенки, фальшивые деньги, на них вы ничего не купите, кроме неприятностей, прослывете фальшивомонетчиками, — ответил Ор со сцены. Послышались редкие смешки. Зазвучала гармонь, мелодия постепенно нарастала: «Вставай, проклятьем за-



УДК 82(07)  
ББК 84.001.01

клеяменный, весь мир голодных и рабов!». Крестьянин и крестьянка приподняли головы, вслушиваясь в песню, рабочий тоже очнулся, вдруг сбросил с себя пирамиду. Полицейский, поп и капиталист посыпались на землю, грохнулись, задрав ноги, и, ковыляя, уползли со сцены. Зрители смеялись, раздались даже аплодисменты. Перед занавесом остался только Константин Ор, он снова накинул черный плащ, опустил на глаза черную маску и вскинул вверх руки:

— История, которую мы вам сейчас расскажем и покажем, действительно произошла во время Французской революции. Товарищи! Во Франции жили две сестры, слепая Луиза и красавица Генриетта!

Константин Ор снял маску и рассказал содержание мелодрамы Дениера и Кермона «Двое слепых». Постепенно он вошел в роль, глаза его, казалось, ловили взгляд каждого зрителя, он то повышал голос, то, вдруг передернувшись, переходил на шепот; переходя на крик, что-то спрашивал, и сам же себе отвечал тихим голосом. Дойдя в своем рассказе до того места, когда одну сестру похитили агенты подлого маркиза, а другая, слепая Луиза, осталась одна на опустевшей площади Парижа, Ор снял черную накидку и шепотом произнес:

«Смеркалось...»

В теплушке вроде действительно стемнело. На сцену, спотыкаясь и шаря перед собой руками, вошла женщина с вывернутыми веками, раздался ее нервный голос, в котором звучало отчаяние:

— Генриетта, стемнело? Генриетта! Почему ничего не отвечаешь, Генриетта?

В это время вошла грязная, растрепанная нищая, подлая и злобная мадам Фрошар, и спросила мужским голосом:

— Кого ищешь, милое дитя?

— Сестру мою, Генриетту, только что была здесь, рядом со мной. Кажется, похитили ее. Что мне теперь делать, куда идти, ведь я слепая, слепая!

— Слепая? — переспросила мадам Фрошар, вцепившись в нее.

— Не ходи, не ходи с ней, — слышалось с платформы. — Отпусти ее, собака! — кричали солдаты.



Во избежание недоразумений на авансцену выскочил Ор.

— Товарищи! Товарищи, не будем мешать актерам, это ведь игра, а не действительность!

— А давеча говорил, всамделишная история, — с упреком проговорил кто-то.

— Да, но это случилось давно, не сейчас же это происходит, — ответил Ор. Он понял, что опасность миновала, и продолжил рассказ.

Из глубины сцены доносилась грустная, монотонная мелодия, исполняемая на гитаре. Ор щурил глаза, метался из одного угла в другой, сопровождая свои слова вздохами и восклицаниями, то вдруг отступал назад, то снова бросался вперед, застывал неподвижно, хватался за голову, падал на колени с мольбой, пошатывался, как пьяный, изображал бандитов, гараща глаза так, что они едва не выскакивали из орбит.

На платформе все сильнее кашляли и шмыгали носом, а когда в теплушке возобновилось представление и дошло до сцены, где разлученные сестры наконец встречаются, — зрители тайком утирали наворачивавшиеся слезы, а некоторые плакали не стесняясь. Представление закончилось тем, что восставший народ ворвался в тюрьму, и все — и артисты, и зрители — еще раз спели «Интернационал».

Кисляков и гармонист давно ушли, не дожидаясь начала второй части представления. На стульях остались сидеть только Семен Моисеевич и Верзила с влажными, покрасневшими глазами. Песня еще продолжала звучать, когда Семен Моисеевич встал и крикнул во весь голос:

— К борьбе за дело трудового народа против контрреволюции будьте готовы!

— Всегда готовы! — грянуло с платформы.

— Товарищи, — продолжал он уверенным тоном, — здесь, на третьем пути, паровоз сошел с рельсов, требуется расчистить насыпь. Живее, товарищи! Общими усилиями отремонтируем полотно и поставим на него паровоз. Кирки и лопаты получите у выхода с платформы.

Приготовившиеся разойтись зрители почувствовали неловкость: как можно было после такого востор-



женного пения и возгласов уклониться от выполнения этого конкретного задания, однако получалось, что их поймали на слове. Приобщение всего минуту назад к идеалу неожиданно преломилось в практической, прикладной сфере, их лучшие помыслы обернулись какой-то торгашеской выгодой, словно во время объяснения в любви женщина заинтересовалась материальным положением жениха. И кто такой этот выскочка-командир: по какому праву распоряжается?! Эти невысказанные мысли вызвали в солдатах глухой ропот, один даже проговорил: «Крепко Ванька печку склад!» Однако Верзила, который о чем-то переговаривался с Семеном Моисеевичем, кивая головой в знак согласия, тотчас почувствовал это робкое недовольство, расправил плечи и повысил голос:

— Разговоры! Исполняйте, что вам говорят! Когда закончите работу, получите ужин!

Солдаты брались за кирки и лопаты нехотя и с отвращением, и тому была причина: это были те кирки и лопаты, которыми вчера грузины-корниловцы рыли себе могилы.

Тюхин запер дверь и лег, набросив на себя пальто. Он не помещался на диване и приставил стул. Он не спал всю ночь и днем не мог выкроить время, поэтому решил прилечь хоть на часок. Тюхин был доволен, все прошло хорошо. Появление его и Гурова оказалось столь неожиданным и в то же время выглядело так естественно, что им, хотя и не без труда, преодолевая колебания и сомнения казаков, удалось склонить их к согласию. Казакам не верилось, что советская власть хочет привлечь их к сотрудничеству в проведении в городе столь серьезной операции. До самого последнего момента, когда они сели на коней и дружески попрощались с хозяевами, казаки делали какие-то знаки друг другу, с опаской поглядывая на руки, карманы и пояса прибывших. Хорошо, что он заставил Гурова снять свой блестящий кинжал, и для чего он ему... Сам он не взял с собой оружия, даже карманный нож оставил в ящике стола: все равно, случись что, им и пушка не помогла бы. Налет на квартиру Сергеева тоже оказался удачным. Весь город



узнал об этом. Вообще-то с этим молокососом-кадетом Никифоровна справилась бы в одиночку. Есаула Матвеева завтра же изберут членом совета, другим тоже подыщут какое-нибудь дело. «Все это хорошо, — Тюхин повернулся на спину, — но как быть с Кисляковым? Наверно, он со своими солдатами на концерте агитбригады, сейчас удалось бы его заманить. Интересно, пошел бы? Ведь солдаты взбунтовались! Нет! Кислякова ликвидировать рано. Прежде надо избавиться от грузин. Это неплохо, что среди них есть женщины и дети. Весть о расстреле должна парализовать город, навсегда отбить у всех охоту к сопротивлению, тогда мы сможем беспрепятственно проводить свою линию. Кисляков ощутит солидарность и еще больше поверит нам. Вечером — небольшой ужин с артистами. Кислякова пригласим непременно, говорят, он любит выпить. Сегодня вопрос пленных грузин решить не удастся. Завтра все же надо быть начеку, часть казацких старшин — в двусмысленном положении, но если соберутся остальные, то неизвестно, что они могут предпринять. Если же не соберутся, тогда дело с грузинами негоже откладывать...» На сон грядущий ему пришла в голову забавная мысль: и как это в Петербурге, в собственном доме, на мягкой взбитой постели, в тихой спальне он, бывало, никак не мог уснуть.

В дверь осторожно постучали, Тюхину лень было пошевелиться. Стук повторился, на этот раз настойчивее. Очевидно, стучавший знал, что Тюхин в комнате.

— Да! — отозвался он. — Что случилось?

— Это я, Мина Васильевич, Графинка! — слышался шепот.

Тюхин быстро вскочил. Графинка был его новый, но надежный агент, вызволенный Тюхиным из милиции, где он находился по подозрению в убийстве купчихи. Мина дал ему задание следить за вожаками солдатского совета.

— Мина Васильевич, в задней комнате буфета Кисляков со своим помощником, или кто он там есть, суют.

— Ну и что?

— Я так подумал, может, дадите мне кого в подюгу.



— Почему?

— Отличное место, я там часто бывал. Эта комната — позади кухни, она у грузина-буфетчика специальная для почетных гостей. Мне туда зайти невозможно: буфетчик, сами знаете, и туды и сюды, и нашим, и вашим.

— Да какая такая необходимость сейчас следить за ними?

Графинка помолчал, потом испытующе взглянул на Тюхина.

— А когда еще представится такой подходящий момент? Оба они наверняка уже пьяные, большой штоф водки ведь потребовали. Все их мысли можно выведать. В кухне окно заколочено доской, в доске щель, а из комнаты не видать — все равно, что вместе с ними сидишь.

— Давно они там?

— Не очень, повар поросенка для них зарезал, когда я побежал сюда.

— Никого не ждут?

— Солдат после театра отправили путь ремонтировать, потом, наверно, пойдут в казарму ужинать.

Тюхин на мгновение задумался, схватил телефонную трубку и, когда на другом конце отозвались, приказал:

— Егорова и Никифоровну ко мне!

Достал из стола револьвер, проверил патроны, сунул за пояс.

— Лошадь у тебя есть?

— Откуда, Мина Васильевич, откуда? — стал плакаться Графинка. — Мотаюсь по городу, как голодный волк.

— Когда понадобится, приходи, я тебе буду давать лошадь.

— А кто его знает, когда понадобится, вот и сейчас бежал сломя голову, чтоб не опоздать.

— Ну, хорошо, подберем тебе что-нибудь.

— Надеюсь на вас, Мина Васильевич!

— Знаешь, где наша конюшня?

— А как же!

— Спустись, скажи, чтоб быстренько приготовили четырех лошадей! — и крикнул вдогонку провор-

но затрусившему Графинке: — От моего имени при-  
кажи!

Тюхин еще раз покрутил полевой телефон, потребовал Гурова и стал ждать ответа, но того еще не могли найти.

В комнату вошла одетая в укороченную, с опущенными плечами шинель та самая женщина, которая сказала Буцхрикидзе, что понимает по-грузински. Следом за ней ввалился косоротый матрос:

— Бызывали, Васильич?

— Да, заходи, — Тюхин решил пока не посвящать их в свои планы, зная, что это не даст ничего, кроме пустых разговоров, ненужных советов и волнений. Тем более, что он и сам еще не знал, как собирается поступить.

— Оружие с собой? — спросил он, надевая свое длинное пальто.

— О чем речь, — пожал плечами матрос.

Во дворе их ждали оседланные лошади. Чтобы не привлекать внимания встречных, четверо всадников поскакали на станцию по возможности бесшумным, но ровным аллюром. Смеркалось. Безлюдные улицы города казались вымершими, нигде не светило ни одно окно. Потерявшие охоту к вечерним прогулкам горожане предпочитали сидеть в темноте, судача о расстреле корниловцев и налете на квартиру Сергеева.

В нормальное время такое, вероятно, нельзя было увидеть, но сейчас Тюхин заметил издали идущих вольным строем солдат. Всадники, не желая встречаться с ними, свернули и окольным путем подъехали к зданию вокзала. У окна начальника станции спешили.

— Поди посмотри, там ли еще, мы здесь подождем, — приказал Тюхин Графинке.

Ждать пришлось недолго. Тюхин объяснил Егорову и Никифоровне, что, разобравшись в ситуации и повидав начальника железнодорожной милиции, им, возможно, придется арестовать двух контрреволюционеров. Егоров свернул козью ножку, угостив и Тюхина. Вернувшись Графинка тоже попросил закурить и шепотом сообщил:

— Там они вдвоем, должно быть, пьяные.



— В кухню не заходил? — спросил Тюхин таким тоном и так протянул Графинке самокрутку, что видно было — думает он уже о другом.

— Зачем бы я стал заходить, снаружи заглянул, — затаившись, ответил Графинка сквозь кашель.

Тюхин оставил Никифоровну с лошадьми, а Егорова и Графинку взял с собой. Подойдя к комнате начальника станции, Тюхин остановился и подозвал обоих:

— Надо найти здешнего начальника милиции!

— Этого нерусского?

— Да! Немедленно приведи его в комнату начальника станции! Постой! Потом этот поведет тебя в буфет, он знает куда, войдите без шума, так, чтобы повар не пикнул, и тихонько возьми их на прицел. Я отрежу им путь, снаружи никто не вмешается, все будут предупреждены.

— Дальше?

— Что дальше? — вмешался, не дожидаясь Тюхина, Графинка. — Обоих в расход и дело с концом.

— Остальное без вас будет сделано, вы бегите прямо к лошадям.

Тюхин подошел к двери, но она оказалась запертой, хотя в комнате горела лампа. Молча, быстрым шагом прошли платформу и вошли в дежурку. Тюхину не удалось установить, где мог бы находиться начальник станции, Егоров тоже не нашел начальника милиции. Тогда Тюхин приказал позвать буфетчика. Перепуганный буфетчик, выполняя распоряжение Тюхина, завел Егорова и Графинку на кухню, а сам, как ему было велено, тотчас вернулся в дежурку. Между тем до начальника милиции дошло, что его ищут, и он явился вместе с милиционером. Тюхин встретил его с улыбкой, предложил стул, не прерывая, однако, беспредметного разговора с дежурным. Начальнику милиции не раз приходилось встречаться с председателем ЧК, и отношения их всегда были натянутыми. Тюхин, не довольствуясь конкретным делом, предъявлял необоснованные претензии, придирался, всем своим поведением желая показать, что ему, посвященному в недоступные другим государственные тайны, достаточно малейшего повода, чтобы погубить любого.

Начальник милиции и сейчас чувствовал себя уни-

женным, правда, Тюхин был вежлив, но, вызвав его по явно серьезному делу, сам точил ляды с дежурным, даже не сочтя нужным сказать, зачем его искали. После их последней встречи начальник милиции решил держаться с Тюхиным независимо, при первом же удобном случае дать ему почувствовать, что не только ЧК, но и милиция выполняет важное дело и пусть соизволят считаться с ней, относиться с уважением к ее работе. Так он решил, и сейчас время для этого было подходящее. Вчерашний расстрел потряс членов национального комитета, состоявшего из влиятельных в городе грузин. Всего час назад они вручили начальнику милиции петицию, сопроводив ее личной просьбой, чтобы он хотя бы сейчас, когда в руках советской власти оказались остальные грузины — старики, женщины и больные — предпринял что-нибудь для спасения этих ни в чем не повинных людей. Поэтому он не дал волю чувствам, перенес свое раздражение на буфетчика и на чистом грузинском языке спросил:

— Что случилось, молодой человек, что вы натворили?

Появление начальника милиции обнадежило пузатого буфетчика, но только он собрался что-то сказать, как раздались подряд три выстрела. Все вскочили и кинулись к дверям, но их остановил грозный окрик Тюхина:

— Сидеть! А ты заходи! — приказал он стоявшему в дверях милиционеру, захлопнул дверь и уже более спокойным деловым тоном объявил: — Никто отсюда не выйдет!

Пикник, как называл его Гуров, готовили не на лоне природы, а в его же кабинете. К письменному столу приставили еще один, поменьше и пониже. На белой миткалевой скатерти, на которой были вышиты цветы и голуби, уже красовались жареная домашняя колбаса, соленые огурчики, кислая капуста, маринованный чеснок, вареная курица, ароматный высокий хлеб, два штофа самогона, большая посуда с брагой и литр наливки для женщин. Женщина была только одна, если не считать востроглазой шустрой девки, которая вносила откуда-то тарелки, стаканы,

лампы, ветчину, лук и при этом почему-то все время прыскала в кулак. Проголодавшиеся гости стояли, поглядывая на накрытый стол. Разговор не клеился. Константин Ор, поигрывая тростью, пытался развлечь собравшихся:

— Представьте, какими прекрасными, какими наивными, какими искренними зрителями оказались наши солдаты! Лучший подарок артисту! Слезы зрителя, знаете ли вы, что это такое? Это не вода и не соль, порознь или вместе... — тут он швырнул трость в угол и направился к столу, — друзья мои, что мы ждем, давайте садиться, — пригласил он к столу хозяев. — Слово есть слово, пока не опьянели, утрясем продовольственный вопрос, а то потом забудется, — он обернулся к Семену Моисеевичу и сделал такое движение, как будто взваливает на спину тяжелый мешок.

— Ни к чему лишние разговоры, наше слово — закон, обещали — сделаем, — недовольным тоном ответил Семен Моисеевич.

— Нет, — стал оправдываться Ор, — вы видели, какой мой Отелло тощий, ест за пятерых, глотает, не жуя, а не толстеет, видать, солигер в нем сидит. Однажды, не успели мы оглянуться, как в один миг обглодал такую же курицу. Когда же ты успел, спрашиваю: «Эх, Костя, — отвечает, — долго ли умеючи, на язык положил, за фил дернул — и все в порядке».

Когда в комнату вошел Тюхин, за столом сидели Гуров, Семен Моисеевич, Верзила, между главным и приставным столом сидела Муся Ор — жена Константина Ора, за низким столом рядом с Мусей сидел не известный Тюхину молодой человек, они, смеясь, тихо переговаривались о чем-то, понятном только им. Тюхин поймал взгляд, который якобы увлеченная оживленной беседой Муся метнула в него. В этом взгляде промелькнуло восхищение его могучим сложением, смешанное со страхом и женским любопытством.

Мина был необычайно оживлен, его распирало от радости. Вернувшись со станции, он умылся, переоделся в чистое белье и поспешил на вечеринку, как на именины. Он почему-то ожидал встретить атмосферу вежливости, готовился отвечать на благожелательные улыбки. Ему вспомнился Петербург, захотелось галантного обхождения. Во главе низкого стола

угощался Ор, успевая при этом что-то рассказывать. Заметив Тюхина, он притворился, что поперхнулся, и закашлялся, раскинув руки веером. Востроглазая девка приняла это за чистую монету и быстро подала ему стакан воды. Ор принял стакан у нее из рук, понюхал, с отвращением отодвинул, взял пустой стакан, наполнил его до краев водкой, осушил одним духом и взглянул на сотрапезников.

— Кажется, я перебил вас, вы рассказывали что-то интересное? — с улыбкой извинился Мина. Ор поморщился, словно только сейчас ощутил крепость напитка, потом, притворившись, что водка ударила ему в голову, поднял руку, как бы целясь в присутствующих из пистолета: «бах-бах-бах, бах-бах, бах-бах, бах». У Тюхина, хотя он и не подал вида, испортилось настроение: это идиотское «бах-бах» подействовало на него, как жирное пятно на новом парадном костюме.

— Начнем, начнем, товарищи, — чего ждать, — подзадорил Гуров компанию, оторвал ножку курицы и протянул Мусе.

— Кислякова не подождем? — спросил непоседливый Верзила.

— Мы его пригласили, человека за ним послали, захочет — придет, а нет, что ж... — не договорив, Семен Моисеевич налил водки, провозгласил тост за артистическое искусство и выпил. Его примеру последовали и другие. Вскоре пошла беспорядочная попойка, кому когда хотелось, наливал и пил. В комнате стоял гвалт, все разом говорили и сами же смеялись сказанному, не слыша и не слушая друг друга. Константин Ор несколько раз постучал стаканом по штофу, требуя внимания. Ожидая, пока наступит тишина, он стоял и, как оппонент, убеждал присевшую рядом на стуле востроглазую девчонку, хотя ей и в голову не пришло бы возразить ему, она только восторженно ловила каждое его слово.

— Нет, душенька, никогда не видать столичному театру такого успеха. Тамошним бездарным актерам кажется блистательной победой, если академический зритель наградит их жиденькими аплодисментами. Поверьте, истинный театр возникает тогда, когда сцена и зал сливаются воедино, — это и есть монументальное искусство. Массы решают все, массы! — он под-

нял полный стакан, обращаясь теперь ко всем: — Что есть театр — призвание артиста? Разве жизнь не огромный театр? Все ведь играют роль, какую хотят и какую могут в эту минуту, все стараются убедить своего партнера. В каждом человеке сидит бацилла актерства, и в конце концов все — театр. Известно, что тираны в первую очередь пытались развить в себе артистический талант. Нерон, друзья мои, Нерон! В каждом тиране заключен артист, и я бы сказал, в каждом артисте — тиран. Возьмем хотя бы войну, — Ор остановился, сделал серьезную мину, важно нахмурил брови и, выдержав паузу, продолжал: — Есть такое выражение: театр войны. Не зря ведь так говорят. Или, к примеру, солдаты, французские гренадеры, войны времен Екатерины, наша кавалерия—это же театр. И вообще подражательность проистекает из природы человека, это потребность единства, тождественности, она укрепляет единство мира... — но только аудитория действительно всерьез настроилась внимать глубоким мыслям чародея от искусства, как вдруг Ор вскинул на плечо воображаемую винтовку, вытянулся во фронт с детски-наивным выражением и по данной самому себе команде: раз, два, три — с песней принялся маршировать на месте, потом резко остановился, поискал, куда бы прислонить «ружье», но, не найдя ничего подходящего, бросил его наземь, огляделся, виновато улыбнулся, махнул рукой, скинул сапоги, сбросил пиджак, как мундир, взглянул на длинные манжеты, тайком, воровато скосил глаза в сторону жены, вздохнул и стянул через голову сорочку. За столом рассмеялись, кто-то проговорил: «А ну как штаны снимет». Ор снял брюки и, когда оставшись в длинных трусах, сделал движение, словно собирается и их снять, зрители заржали, востроглазая девчонка завизжала. Ор посмотрел на нее и, будто сжалившись над ней, передумал и, кривляясь, двинулся к «реке», прикрывая срам руками. В воду он входил осторожно, пробуя ее ногой и стараясь не потерять равновесия. Сначала он пригоршнями увлажнял себе грудь и плечи, гримасничая, как дурачок, фыркая от удовольствия (надо было привыкнуть к холодной воде), потом, наконец рискнув, нырнул и тут же испуганно вынырнул, задыхаясь, нахлебавшись воды, со спутанны-

ми мокрыми волосами, закрывавшими лицо. За столом раздавался гомерический хохот. Тюхин редко пил, но сейчас водка пришлась ему по вкусу, хотя настроение у него не улучшилось, только навалилась какая-то вялость. Он почувствовал, что устал, и поневоле хмуро поглядывал на паясничавшего Ора, немного завидуя такой беспечности. Его раздражали раскрасневшиеся, возбужденные лица, и он искал подходящего момента, чтобы подзвать Гурова, разобраться в создавшейся обстановке и вернуться в свою комнату.

Для Тюхина на окраине города сняли частную квартиру, но жить там почти не приходилось, вот и сегодня не стоило тащиться в такую даль. Гуров передал гитару сидевшему рядом с Мусей Ор молодому человеку, тот привычным движением откинул назад спадавшие на лоб длинные светлые волосы, задрал круглый подбородок, закрыл глаза, мощно ударил по струнам и запел какую-то песню приятным баритоном. Муся, вызывающе глядя осоловелыми глазами на Тюхина, прервала поющего, потребовала сыграть плясовую.

— Какой суровый у вас председатель ЧК, — почти кричала Муся Гурову, — я хочу заставить его танцевать, а он ломается.

Она сорвала с плеча платок, подняла его над головой на вытянутых руках, страстно изогнулась и пошла по кругу с песней.

Неожиданно Верзила перешагнул через стол и так ловко пошел вприсядку за дробно перестукивавшей каблуками Мусей, что вызвал всеобщее восхищение.

— Давай, давай еще! — просили вернувшегося на свое место Верзилу, но в это время в комнату вошел Долговязый и растерянно объявил:

— Кислякова убили.

Наступила тишина. Гуров и Семен Моисеевич одновременно посмотрели на Тюхина. Верзила вскочил, окинув быстрым взглядом находившихся в комнате, сел, снова резко встал, повел плечами, но стоявший рядом Гуров тихо положил ему руку на плечо. Верзила сел и, склонившись над тарелкой, начал жадно есть, словно кто-то гнался за ним. Артисты ни о чем



не догадались, даже не поинтересовались, что случилось. Молодой человек отложил гитару и удерживал Мусю, которая тянулась к Тюхину, повторяя:

— Костя, разреши с начальником поцеловаться!

Константин Ор, уже изрядно захмелевший, сердито говорил молодому человеку:

— Чего ты лезешь, твоя, что ль, жена, я разрешаю.


Тюхин встал, сделал знак Гурову, чтобы тот последовал за ним, и направился в свой кабинет. В комнате горела лампа, зажженная дежурным. С улицы доносился свист ветра. Мина открыл окно и проветрил комнату. Муся Ор напомнила ему Степаниду — не потому, что она была внешне похожа на эту потаскушку, нет, их роднила неприкрытая, бесстыдная активность. Тогда Тюхин только что вернулся с фронта, легко раненный в ногу. Он решил оставить военную службу, но пока не знал, как жить дальше, что делать. Жизненная теория, которой он держался так долго, перестала служить ему надежной опорой, и, снова оказавшись в водовороте колебаний, он ждал приступов беспричинного страха. Однажды, придя в старый тюхинский дом, где теперь вместе с мужем жила его племянница Степанида, только что вышедшая замуж, он застал ее с каким-то плюгавым, неказистым мужчиной. Пока Мина приходил в себя от изумления, мужчина удрал, и он остался наедине с полуодетой, нагло взиравшей на него Степанидой...

В коридоре послышался какой-то шум, и снова все стихло. Ни Гуров, ни кто другой не появлялся. Раздраженный Тюхин вышел в коридор. Дверь в комнату Семена Моисеевича была открыта и оттуда доносился его голос:

— Вы даже не знали, что он ротмистр царской армии и Георгиевский кавалер. Выходит, мой отец, беднейший кишиневский еврей, не знал, кто я такой!

Мина заглянул в комнату. Верзила сидел, обхватив руками лысую, блестящую при свете лампы голову, а стоявший у него за спиной Семен Моисеевич гневно распекал его за что-то.

— Семен Моисеевич, ступайте в мою комнату, дверь открыта, я загляну к Гурову и тотчас вернусь.

  
საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთეკა

И на вопрошающий взгляд Семена Моисеевича молча кивнул: «Да, и его тоже».


Не дойдя до конца тускло освещенного лампой коридора, Тюхин услышал доносившийся из маленькой темной комнаты приглушенный мужской голос, тихий грудной смех женщины и какую-то возню. Он резко открыл дверь и увидел у стены прильнувших друг к другу Гурова и Мусю.

— Черт побери, Гуров, я тебя жду, а ты тут... — выругался Тюхин и с силой хлопнул дверью.

Спустя некоторое время в кабинете Тюхина сидели Гуров, Семен Моисеевич и Верзила. Председатель ЧК без всяких объяснений перешел прямо к делу и объявил Верзиле, что его назначат командиром вместо убитого Кислякова. Для этого необходимы перевыборы солдатского совета, ибо старый совет находился под влиянием контрреволюционера Кислякова. На выборах будут присутствовать большевики города, представители военно-революционного командования, они и митинг проведут. А теперь надо спокойно, без паники разработать конкретные мероприятия. Семен Моисеевич всегда был рад стараться поучать, а выпив, стал вдохновенным проповедником, придавая все новые значения любой мелочи, чтобы предусмотреть возможные ситуации, тем более, что Гуров, чувствуя себя виноватым, не докучал ему своими мрачными шутками. Тюхину надоела эта бесконечная болтовня, он отпустил Верзилу в солдатские казармы, а Гурову и Семену Моисеевичу сказал, что хочет спать, и предложил собраться завтра, чтобы решить судьбу пленных грузин. Мне и вправду очень хотелось спать, он быстро запер дверь, потушил лампу и, не раздеваясь, повалился на диван. Летний дождь дробно стучал в окно. Тюхин слишком устал и никак не мог заснуть...

Степанида схватила канделябр, раздвинула шторы затемненной спальни, открыла дверь и молча впустила Мину.

— Люблю грозу, — сказала она, быстро поставила канделябр на круглый столик, подошла к окну, открыла обе половины, перегнулась с какой-то дикой грацией, как будто хотела прыгнуть во мрак, потом, все так же стоя спиной, неуловимым движением распустила стянутые в узел густые волосы, и они водо-



падом рассыпались по плечам, потянулась, потряхнув  
распущенными волосами, обернулась, взглянула на  
Мину слегка косившими глазами и прошептала:—При-  
ходите попозже. В обуреваемом желанием Мине это  
вновь вызвало сомнение и неуверенность в себе, ко-  
торые в последнее время преследовали его в отноше-  
ниях с женщинами. И в то же время он почувство-  
вал какое-то облегчение. В конце концов можно сов-  
сем не идти, тем более что и разговора между ними  
еще не было, есть тысяча поводов для отступления:  
непонимание, разница в возрасте, моральная сторона,  
а главное — они же родственники. Он вернулся в свою  
комнату, прилег на кровать, закурил папиросу. Снова  
им овладел беспричинный страх. Он решил потушить  
свет и заснуть, если сможет. Не следует идти на по-  
воду у взбалмошной девчонки. Он быстро разделся,  
изо всех сил стараясь сердиться на Степаниду, но в  
глубине души понимая, что сердится на себя. Гроза  
не стихала. На мгновение он вообразил себя в темном  
лесу, голого, под проливным дождем, с воздетыми к  
небу руками, шлющего проклятия богам. Вспышка  
молнии осветила также голую Степаниду, убегающую  
от него. Мина ждал новой вспышки, чтобы погнаться  
за ней. Перед глазами у него стояла ее ослепительная  
грудь, точеные округлые плечи, сильные ноги. Он встал,  
пытаясь унять сердцебиение, и робко, осторожно, как  
несмышлениш, подошел к дверям комнаты Степани-  
ды. Раздвинув портьеры, он едва не ослеп от яркого  
электрического света. Это было так неожиданно, что  
Мина разозлился: он крался неодетый и вдруг... Сте-  
панида смеялась, она придвинула кровать к открыто-  
му окну и с книгой в руках раскинулась на широком,  
низком, взбитом ложе.

— Что это за иллюминация?

— Иди сюда, присядь, — вместо ответа позвала  
его Степанида. — Ух, какой ты огромный, с таким мне  
еще не приходилось бывать.

Мина присел на постель, взял книгу у нее из рук,  
потом все смешалось и завертелось...

Сегодня Тю не отправился на охоту вместе со все-  
ми. Правда, в глазах окружающих у него была осно-  
вательная причина, но сам-то он знал, что пораненная  
голень уже прошла, боль отпустила еще в полночь,

гной вытек из раны, и он спал всю ночь как убитый. На рассвете шум сборов разбудил его. Во мгле суетились задержавшиеся, женщины совали отъезжавшим провизию в дорогу, мужчины орали, пререкаясь друг с другом; снизу доносился звук рога вождя. В этот раз он мог не карабкаться по откосам и буеракам, не слышать гиканья охотников. Все знали, что он болен, никто не обращал на него внимания, возможность остаться наедине с собой доставляла ему неизъяснимое наслаждение. Он поудобнее завернулся в медвежью шкуру и погрузился в ленивую дремоту. Весенний дождь, загородивший вход в пещеру, наклоняемый ветром, подрагивал, как растущий тростник, весело, празднично барабанил по крутому лбу скалы, нависавшей над пещерой, швырял плотные охапки напоенной росистой свежестью воздуха в душное жильё. Завеса дождя у входа в пещеру приобрела гибкие очертания обнаженной женщины.

— Тю! — послышался голос, Тю проворно вскочил. — Тю! — звонким голосом окликнула его женщина, засмеялась и скрылась. Тю выбежал из пещеры и погнался за ней, она мчалась, как необъезженная лошадь, и он, потеряв надежду, замедлил бег, женщина остановилась, посмотрела на него с упреком и снова побежала, но уже медленнее. Тю собрал все силы и, опасаясь, как бы она не затеяла новую игру, налетел на нее, как орел, обнял одной рукой, подпрыгнул, ухватил конец толстой ветки огромного дерева, пригнул к земле, посадил на нее женщину и отпустил ветку. Ветка рванулась вверх, увлекая ошеломленную от испуга женщину. Однако, когда, высоко взлетев, ветка начала раскачиваться, женщина перевела дух и засмеялась от радости. Тю разошелся, прыгнул, дотянулся до ветки, пригнул ее еще раз и снова отпустил, успев вскочить на более толстую часть ветки, ближе к основанию. Дерево разок подбросило вверх сидевших на ветке Тю и женщину, но потом ветка тяжело наклонилась к земле, словно вот-вот переломится...

Мина был рад, что избавился от навязчивой мысли о своей мужской слабости. Брызги дождя и свежий воздух приятно охладили разгоряченное тело. Неординарность случившегося наполняла его гордостью. Ярким лучом, осветившим на мгновение бездну, прояв-

лением незримой высшей силы, божественной свободой казалось ему нарушение социальной нормы. Обладание совершенным телом Степаниды представлялось верным доказательством приобщения к единству мира, а кровосмешение — прикосновением к чистому источнику, постижением первоосновы вселенной. «Ей нет и девятнадцати, — думал Мина, — она так терпимо относится ко мне, мужчине без малого сорока лет». И, словно отвечая его мыслям, Степанида серьезно сказала: «Женщина семнадцати-восемнадцати лет — связующее звено между поколениями». Чувствовалось, что ей не терпелось высказать сразу все, о чем она думала, и Степанида все рассказывала и рассказывала, не умолкая. Мина слушал, и кое-что из сказанного поразило его своей простотой логичности.

— Человек материально, по самому своему рождению — экстракт наслаждения, и, естественно, растворяясь в воде жизни, первейшей функцией своего существования реализует желание достичь наслаждения.

Рассказала о нескольких своих любовных приключениях. Мине было и интересно, и обидно. Наверно, не обманывает, думал он, когда говорит, что никогда не была так откровенна.

— Этот Владимир, или как его, уродец, чем он тебе приглянулся? — спросил он.

— Да нет, не приглянулся, просто мне интересно, правда ли то, что о нем рассказывают?

— А что рассказывают?

— Говорят, известная петербургская красавица баронесса N не отказывает никому, кто согласен заплатить десять тысяч за ночь. Ну вот, московские студенты положили по десять рублей, собрали десять тысяч и бросили жребий — кому провести ночь с баронессой. Этим счастливымчиком оказался Владимир. Баронесса приняла его, а утром, прощаясь, спросила, кто дал ему столько денег. Владимир все рассказал без утайки... Тогда баронесса вынула из принесенных им денег один червонец и вернула Владимиру со словами:

— Ты — первый мужчина, которому я отдалась бесплатно.

— И что же тебя заинтересовало?

Степанида хитро усмехнулась.

— Нет, меня еще кое-что интересовало, муж мне рассказал...

— Что?

— О гигантизме Владимира.

— Болван твой муж.

— Разумеется, с тюхинской силой не сравнится, — ответила Степанида и прижалась к Мине. Мина погрузилась в мягкую постель, сладкая дремота овладела им, и освобожденный от всех мыслей, он безмятежно уснул.

Вспышка молнии осветила кабинет Тюхина, как отсветом пожара, тут же грянул оглушительный гром... «Черт побери», — проворчал Тюхин, отгоняя нахлынувшие воспоминания. Он даже толком не мог понять спал или бодрствовал, повернулся на другой бок, решительно намереваясь заснуть. Он разом представил себе труп Кислякова, вынесенный из буфета, но вместо беспокойства им овладело приятное сознание исполненного долга, и, прежде чем окончательно погрузиться в сон, он подумал: «Ох, знали бы эти несчастные, сколько жертв еще потребуется...»

Пленных грузин оставили в той же комнате на втором этаже, а Арадэли, прежде чем запереть в подвале и приставить к нему тюремщика, Егоров привел к одетому гимназистом следователю, вероятно, чтобы показать. Следователь с любопытством оглядел Валико, но ничего не спросил. Подвал оказался узким, без окон, зато одна стена была теплой, наверное, в комнате наверху топилась русская печь. Такова была воля Нино, и Валико покорился судьбе: он ни о чем не спросил и не выразил протест. Всю жизнь он чему-то сопротивлялся, чего-то искал, беспокоился, подвергал себя смертельной опасности. Сейчас ему даже нравилась такая беспечность. Войдя, он тотчас снял сапоги, положил их себе под голову у теплой стены, завернулся в шубу и сразу заснул. Прошло много времени, пока он наконец зашевелился, перевернулся на другой бок, подоткнул сползшую шубу и снова заснул. Ему грезилось, что он в Тбилиси, но в то же время понимал, что это сон. Возникла знакомая картина: невысокий холм... зеленеющая трава... одетое в чоху облетевшее дерево, одна рука у него согнута в локте. Де-

рево перевернулось, затрепетало. «Сейчас перевернется, — подумал он, — распустится, зазеленеет». Радость разбудила его, мысленно он продолжил сон, проеледил его до конца, вновь окунулся в вату с шампанским, но никак не мог, сколько ни старался, отыскать корни дерева, оно оставалось повисшим в воздухе... Некоторое время он лежал с открытыми глазами, боясь пошевелиться, нарушить сонное блаженство. Потом он перенесся мыслями в Петербург, и почему-то с ним оказался его петербургский знакомый Тюхин. Окончательно стряхнув с себя остатки сна, Валико увидел стоящих перед ним трех охранников. Один держал в руке свечу, другой принес хлеб и воду в кружке, третий стоял в дверях. — Ну и дрыхнешь, — удивился один из них, и, прежде чем Валико осознал происходящее, тюремщики вышли и заперли дверь. — Эй, эй! — окликнул их Валико, хотя и не знал, о чем собирался спросить, да никто и не думал отвечать.

Когда Валико вызвали из комнаты, где находились пленные, у него перехватило дыхание, как от удара в живот. Он взглянул на Нино и постарался изобразить веселую улыбку. Нино выпрямилась и окаменела, щеки ее порозовели от волнения, ее сиявшие счастьем глаза выразили веру в грядущее вечное утешение, сдерживаемую страшную боль, гордое смирение перед неизбежным. Его повели по длинному коридору здания ревкома, дверь в конце коридора открылась и снова закрылась за ним, из подвала пахнуло сыростью и ржавым железом, из камер доносились приглушенные камнем человеческие голоса и звяканье и скрежет ключей и замков. Перед ним возник безлюдный, слабо освещенный коридор. Враждебная среда вернула ему твердость, он решил шаг за шагом следовать велениям жизни, ее проявлениям, строго запретив себе думать о чем-нибудь отвлеченном, не касающемся сиюминутных предметов. Сейчас, когда тюремщики ушли, сон окончательно покинул его. Закралась запретная мысль: «Вдруг и остальных бросили в это подземелье?» — «Камер не хватает!» — броском через себя шмякнул он наземь неуместную мысль.

Сильно проголодавшись, он сразу съел весь хлеб и с удовольствием запил его тепловатой водой. У него даже улучшилось настроение, не раз уже снившийся



знакомый сон породил в нем надежду, звучал в душе, как песня после веселой пирушки. Одно только удивляло: откуда возник во сне Тюхин? Впервые Валико встретил его у Марии Павловны. Княгиня обычно каждого нового гостя специально представляла Валико. Не раз он предупреждал княгиню: «Я дворянин, а не князь», — но хозяйка все так же неумеренно восхваляла Арадэли, что придавало легкомысленный оттенок их отношениям и ставило в неловкое положение и Валико, и гостей. В тот вечер у Марии Павловны собрались несколько славянофилов и западников, один социал-демократ, один филолог и знакомый философ Владимир Соловьев. Тюхин, приходившийся князю дальним родственником, приехал с опозданием. Выступление Соловьева, только что прибывшего из Парижа и говорившего о явлении антихриста в XX веке, панмонголизме и русском государственном обскурантизме, вызвало большие дебаты, усугубившие сомнения Валико. Он никак не мог разобрать, чем отличаются цели ненавистников «гнилой Европы» и Петра Первого — славянофилов, противников старой, традиционной Руси — эпигонов западничества, космополита — проповедника социальной справедливости и русского поэта, если все их рассуждения в конце концов сводились к идее могущества России и ее миссионерской роли. На обратном пути новый знакомый — Тюхин настойчиво приглашал его в ресторан «Метрополь», к цыганам, и, хотя Валико очень не хотелось, он все же согласился: не хотел обижать родственника так хорошо относившейся к нему Марии Павловны. В ресторане они кутили всю ночь. Тюхин показался ему чрезмерно экзальтированным, напоминал сорвавшийся с дерева и висящий на тонкой паутине лист, призрачное кружение которого — отражение другой жизни. Тюхин быстро захмелел. Подозвав к столу цыган, он велел им пить и плясать, но вскоре это ему надоело и он, раздав им деньги, грубо прогнал их. Потом уставился на Валико:

— Смотрю на вас и завидую. Вы верите в Бога?

Валико пожал плечами:

— Вряд ли.

— Не верите — и так спокойны?

— А что же мне делать? — улыбнулся Валико.



— Не понимаю эту античную догму, что мудрость заключается в подготовке к смерти. Для меня более приемлема мысль Спинозы, что добродетель — в мыслях не о смерти, а о жизни. Но Спиноза ведь не был христианином? И потом, это все равно самообман, — Тюхин выпил водку и спросил: — Во что же вы верите, если не в Бога?

— Не знаю, мне часто казалось, что Бог еще только рождается, он явится, когда люди усовершенствуют его.

— Выходит, что-то все-таки существует?

— Это что-то, вероятно, случайно и непознаваемо, поэтому и стремимся познать себя и в то же время стать необходимостью, утвердиться навечно. Надо полагать, по этой причине из единого оно преобразовалось в многоликое, поэтому искания идут в одном направлении, каждый живущий охвачен идеей познания единого, в бесчисленных, беспредельных комбинациях, в бесконечных формах протекает один и тот же эксперимент, и когда возникают какие-то реальные связи, это случайное снова и снова повторяется, бережно совершенствуется, разрастается, как катящийся с горы снежный ком, и однажды, наверное, истина, подобно лавине, обрушится на наш мир. Это, возможно, и будет Бог, если застанет...

— Значит, и он определяется в категориях времени?

— Вышедшая из вечности, или пустоты, случайность определяется уже временем, не так ли?

— И только мысль человека — ее центр?

— Как знать?

— И вы верите во все это?

— Верю, когда потеряна всякая надежда и только случайность внезапно спасает.

Тюхин заговорил о недавно умершем отце.

— Отец ни во что меня не ставил. В детстве обходился со мной жестоко, обидно мне было, но в конце концов я всегда считал это справедливым. По сравнению с ним я действительно был ничтожеством. всю жизнь я подражал ему, где удавалось, поступал так же сурово, как он, где удавалось... а где не....

Тюхин заплакал, почему-то просил прощения, порывался поцеловать руку Валико, тот с трудом выр-

вал кисть из его железных пальцев. Это была их первая встреча, хорошо ему запомнившаяся. Но почему он приснился Валико сейчас?

Утром Тюхин проснулся в хорошем настроении. Всю ночь он проспал как убитый, отдохнул, и погода стояла прекрасная. Небо было такое чистое и прозрачное, как будто вчера не лил дождь. Пока дежурный убирал остатки вчерашнего «пикника», Мина по телефону договорился с Гуровым провести в два часа заседание совета с участием комитетчиков, есаула Матвеева и двух казацких старшин. Во вторую комнату вошла Никифоровна, Егоров, Долговязый и одетый в какую-то непонятную форму молодой человек с папками под мышкой. Из их рассказа Тюхин узнал, что все грузины, кроме одного, содержатся пока в одной большой комнате. Этот один, надо полагать, корниловский офицер, как сказали о нем сами грузины, так что только его изолировали, перевели в тюремный подвал. Нескольких уже допросили. Молодой человек разложил на столе папки с протоколами, списком грузин и их документами. Тюхин отпустил их до вечера, потребовав продолжать допросы. Все вышли, только Егоров медлил, челюсть у него, казалось, кривилась еще больше, глаза были налиты кровью.

— Что? Похмельем маешься?

— Нет, клянусь, Васильич, как могли подумать, я хотел сказать, у этих грузин разрешение имеется из Петрограда, в Смольном подписанное. Вот, гляди, — тут Егоров подхалимски заулыбался, взяв в руки папку: — Это не шуточное дело, не корниловцы они, я контрунюхом чую, что могут старики и инвалиды, отпусти-те, пусть себе уходят.

От Егорова разило перегаром.

— Пошел вон! Тебя не спрашивают! — заорал Тюхин, вскочив со стула.

Егоров пулей вылетел в коридор. «Ты смотри, какое дело я ему вчера провернул, даже спасибо не сказал. Уйду отсюда совсем, плевал я на ихние двести пятьдесят рублей». Но в душе он все же считал, что Тюхин обошелся с ним правильно, Егорову нравилась его резкость. Вчера этот нерусский начальник милиции напоил его и попросил, отпусти, мол, грузин, ни-

какая они не контра, может, умаслишь Тюхина. Его-ров думал, что только он сам замешан в этом деле, он не знал, что нынче утром начальник милиции обращался и к другим. Он передал Гурову петицию грузинского комитета и так обрисовал ему вчерашнюю операцию, что выходило, будто он и его милиционеры сыграли большую роль в ликвидации Кислякова. А главное, описал в преувеличенном виде недовольство населения города, подчеркнул нецелесообразность столь частых террористических актов. Кроме того, он послал к Долговязому своего милиционера с большим количеством вареного мяса и хлеба для передачи грузинам.

Заседание совета открыл Гуров. Вначале он дал рекомендацию Матвееву как беспартийному, но заслуживающему доверия, уже проверенному в деле революционеру. Угрожающим голосом заявил, что некоторые замаскировавшиеся контрреволюционеры порой мешают совету в принятии оперативных решений. На одиночные реплики он не обратил внимания. Долго это не продлится, добавил он, мы с этим покончим. Привел общие примеры и, постепенно повышая голос, закончил с таким пафосом, что все замолчали. Потом он опустил руку в карман галифе, как будто за оружием, нахмурился и грозно спросил:

— Кто против?

Матвеева единогласно избрали членом совета. Гуров сказал и о Кислякове и солдатах:

— Необходимо выделить несколько большевиков, представителем от военного командования будет Семен Моисеевич. Сперва надо провести выборы эскадронных комитетов, потом — полкового совета. Там долгое время нарушалась дисциплина, не проводилась воспитательная работа, Кисляков, сам анархист, заразил солдат анархистским духом. Революционной армии требуются методы демократического руководства. Войско должно перейти под полный контроль Красной Армии и советской власти. Солдатам пообещайте жалованье — сто пятьдесят рублей одиноким, двести пятьдесят рублей — семейным.

— А все же кто убил Кислякова? — спросил кто-то.



— Пьяные были, вот и застрелились, — не моргнув глазом, четко проговорил Гуров.

— Но как?

— А так, револьвером.

— Товарищ Гуров, — встал Семен Моисеевич, — ты хочешь сказать, что поскольку они оторвались от масс, отделились от солдат и кутили отдельно от всех, это вызвало пока не раскрытое убийство, и это в каком-то смысле самоубийство, не так ли?

— Я сказал то, что хотел!

— Да, но какая необходимость сочинять такую неправдоподобную версию? — возразил Семен Моисеевич.

— Я вам говорю, они покончили с собой, и никакого другого мнения на этот счет не существует, — упрямо повторил Гуров.

Тюхин встал. Объяснение Гурова он, разумеется, счел грубым, неуклюжим, шитым белыми нитками, он даже улыбнулся про себя, слушая его, но все же поддержал, понимая, что важно не что говорится, а кто говорит и как говорит. Кроме того, он верил, что гениальность — не что иное, как способность подойти к конкретным жизненным обстоятельствам, не умничая сверх меры. Тюхин и Гуров договорились по телефону, что Мина вскользь сообщит совету о корниловцах, но Тюхин передумал, решив, что сейчас неподходящий момент для обсуждения таких оперативных дел: начнутся расспросы, предположения, словом, болтовня, и, возможно, возникнет непредвиденное мнение, что вовсе не входило в планы Тюхина. Поэтому он заговорил о церковном имуществе и землях:

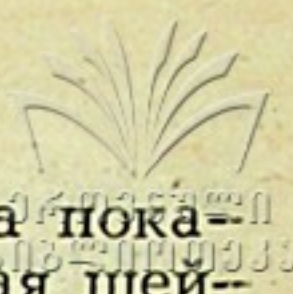
— Товарищи, духовенство объявило настоящую войну советской власти. Бывший обер-прокурор Синода Самарин вознамерился припугнуть нас стомилионным православным народом. Вчера в руки нам попало воззвание патриарха Тихона, в котором наметен план контрреволюционного церковного движения. А мы еще даже не приступили к конфискации монастырских земель, — Тюхин сделал паузу и внимательно посмотрел на членов совета. — Товарищи! — произнес он и вдруг вспомнил, как беспричинно покраснел позавчера. Это воспоминание снова обдало его краской стыда. Мина видел себя окруженным этими



341135341

грубыми, неотесанными людьми, представил, что он совершенно чужой здесь, и ему показалось, что и они так же смотрят на него. Он растерялся, как артист, вдруг на сцене забывший роль и не знающий, что делать дальше, куда деть руки, что говорить. Создалось неловкое положение. Здоровенный Тюхин стоял красный, обливаясь потом, беспомощно озираясь и не в силах произнести ни слова. «Опять ему плохо», — сказал Семен Моисеевич. «Воды, воды», — засуетились в комнате. Эта унижительная опека и досада и злость на самого себя разом привели его в чувство, и он рявкнул:

— Сами пейте! Я говорю, что и этот сопляк кадет, и корниловцы, и вообще все, кто вздумает вредить советской власти, не уйдут от ответа! — это был уже настоящий Тюхин, огромный и устрашающий, покрасневшийся, но с жестким, свирепым взглядом. Он оставался еще недолго, пока отбирали группу, направляемую к солдатам, и, не дожидаясь рассмотрения остальных вопросов, ушел, сославшись на неотложные дела. На улице ему вспомнились горевшие ненавистью глаза молодого кадета, арестованного в доме купца Сергеева, и он разозлился на себя за то, что не прикончил его на месте, не раздавил это проросшее семя зла. Он повернул своего безадресно скакавшего коня к ревкому. Сегодня, сейчас же исправит он свою оплошность. Только беспощадность! Немедленно расстрелять этого змееныша. Зачем нужно было брать его живым? Самому, своей рукой надо расстреливать врагов революции! Тогда не придут в голову дурацкие мысли. По его распоряжению и при его участии достаточно было пролито крови, но лично он еще не убивал никого. В Петрограде, во время перестрелки в логове террористов после его выстрела упал офицер, но умер или нет, он тогда в возникшей суматохе не разобрал. Тогда он не задумывался: ведь не он один, все вместе поступали так ради великого дела, а вот убить своей собственной рукой — это уже личная ответственность перед лицом природы. Тут требуется особая твердость. Что ж, у него хватит воли. В конце концов все — дело привычки. Вспомнилось, как он переживал в детстве, когда пришлось первый раз зарезать курицу, как физически ощутил, что по-



кушается на жизнь. Частью собственного тела пока- залась ему бьющаяся у него под рукой горячая шейка. Взрослые испытующе молчали: это было необходимо, мужчина не должен бояться крови, и Мина трясущейся рукой полоснул ножом по куриной шее.

Палачество — последнее испытание мужества, за которым уже нет невозможного, и выдержавший его становится в жизни свободным, независимым. Первейший долг сейчас — беспощадность к врагам, особенно к таким хищникам, как этот желторотый.


Поручив коня встреченному караульному, он взбежал к себе в кабинет, выдвинул ящик стола, заменил пистолет, который лежал у него в кармане, револьвером, проверил барабан, крутанул его несколько раз, сжал рукоятку, словно прилаживал ее к руке или пожимал кому-то руку, потом засунул его, как обычно, за пояс. И тут пришел Долговязый и доложил Тюхину, что арестованный в доме Сергеева кадет повесился.

— Так и знал, что этот змееныш выкинет что-нибудь, — заорал Мина, но в глубине души почувствовал облегчение: провидение щадило его, оберегало от участия в излишнем злодействе. Он вырос в собственных глазах, оставшись и стойким, и чистым душой. Ведь он принял твердое решение и, конечно, не отступил бы. Так что можно считать, что и этот рубеж он преодолел.

Вместе с Долговязым Тюхин направился в камеру, где в ожидании приказа никто не прикасался к трупу. В камере было темно. Тюхин пнул ногой валявшееся тело.

— Тихонько снял с себя белье, разорвал его на полосы, скрутил, закрепил петлю на верхней заслонке стенной печи и повесился, — подробно докладывал Долговязый обстоятельства дела.

Мина ожидал в узком коридоре тюремщика, и когда тот, осторожно неся коптилку, приблизился к камере, Мина изо всех сил двинул ему в челюсть, так что тюремщик пролетел коридор и шлепнулся на цементный пол. Пригрозив расправой в страхе прижавшемуся к стене Долговязому и изругав опрометью бежавшего к месту происшествия Егорова, Тюхин вскочил на лошадь и помчался к своей загородной квартире. Приблизившись к маленьким, нарядным, обса-



женным распустившимися деревьями домикам, он сообразил, что не было никакой надобности приезжать сюда в полдень, словоохотливая старушка-хозяйка станет приставать с разговорами, а больше здесь никого не было. Чувствуя себя выдохшимся, опустошенным, он повернул коня и рысью направился назад в город. Эти странности стали одолевать Тюхина с тех пор, как он предстал перед умирающим отцом, Василием Васильевичем, пожелавшим видеть сына. До этого Мина не задумывался всерьез о смерти, не ощущал ее существования, и когда он увидел, что его отец, этот человек-гора, лежит на смертном одре беспомощный и испуганный, когда Василий Великий, плача, сказал ему: «Стойкость, мужество — все это глупость», — он вскочил и убежал, ни с кем не прощавшись. Долго бежал он, словно спасался от погони, а сам чувствовал, что кто-то сидит у него на плечах и хочет задушить. Дома он свалился в горячке. Ничто не помогало — ни нашатырный спирт, ни горячая ванна к ногам — он долго мучился без сна и только на рассвете впал в забытие. Выспавшись, на другой день он встал совершенно спокойный. Сидя в парикмахерской, он даже посмеялся над своей вчерашней слабостью, но когда, побрившись, решил навестить отца, его снова охватила паника. Он отпустил извозчика и пошел пешком, но на полпути повернул назад к дому, не желая больше видеть умирающего. «Скорей бы уж умер, потом все пойдет по-старому», — надеялся он. К несчастью, все случилось не так. В день похорон приступ малодушия повторился. Прощаясь, он сделал над собой усилие и поцеловал отца в лоб, и ему показалось, что он прикоснулся губами к холодному мрамору. В ужасе удалился он прочь, отмахнувшись от родственников, пытавшихся удержать его, и убежал. В этот раз он не нашел оправдания обурявшему его смятению и испугался, что ему уже никогда не избавиться от этих припадков, что страхи будут преследовать его всю жизнь. Он видел себя в гробу, в земле, изъеденного червями, все кругом казались ему скелетами. «Всего несколько десятков лет — и это произойдет, — думал он. — Время пролетит так быстро, что и не заметишь. Зачем же эти глупцы смеются, о чем-то разговаривают, зачем обманывают себя,



несчастные. Все, что называют жизнью, всего лишь система уловок, смысл которых — избежать мыслей о смерти. Человечество можно представить в виде одной бесконечной очереди, ежесекундно движущейся к бойне». Он попытался чувству противопоставить мысль, но мысль была четкой, ясной, содержащей истину, чувство же хотя бы хаотически пыталось нарушить, спутать логику мысли, игнорировать неумолимую истину, разумеется, безуспешно. Он, трепеща, отчаянно искал какого-нибудь нового обоснования, нового доказательства. Как счастливы, наверное, верующие... Или Бог — это тоже уловка? В чем же тогда назначение человека?

После допроса грузины воспрянули духом: обращались с ними хорошо и допрашивали весьма поверхностно. Только Лади и семейству Ишхнели попался дотошный молодой следователь в какой-то непонятной форме — то ли железнодорожной, то ли гимназической.

— Шизофрения, не так ли? — переспросил он Чкония с иронической улыбкой и покрутил указательным пальцем у виска.

Господин Лади уже не помнил, что в журнале санитарного поезда его «болезнь» называли именно так. На любой предлагаемый вопрос был готов ответ, а об этом забыл, смешался, струсил и не мог уже связно говорить. На дальнейшие вопросы он отвечал так, как хотелось следователю, подтверждая все, что было и чего не было. Да, он, правда, отошел от социал-демократического движения, но действия большевиков считал целесообразными, это все подтвердят, кого уважаемому следователю угодно будет спросить, рассказывал Лади. Правда и то, что в Петрограде он противился фантазиям Арадэли о формировании грузинского полка...

«Итак, — записал следователь, — в распоряжении Арадэли был белогвардейский полк, который он готовил для борьбы против советской власти».

— Нет, это не совсем так, потому что...

— То есть как это не так? Мы знаем, что за птица Арадэли, — недовольно перебил его следователь.

— Нет, разумеется, так бы они и сделали, приехав



в Грузию, Арадэли ведь известный анархист, — старался господин Лади завоевать благосклонность следователя.

Чем больше нелепостей и вздора рассказывал Чкония, чем больше оговаривал он Арадэли, тем сильнее злился на него и убеждал себя, что поступает правильно. «В самом деле, зачем щадить Арадэли, давно он мог погибнуть в драке, на дуэли, в полиции — мало ли где еще, и вообще стоит разве жертвовать столькими людьми ради его спасения». Возвращаясь с допроса, Чкония, правда, понял, что его втянули в грязное дело, но, как подобало истинному философу, он нашел себе оправдание и успокоение: во-первых, судя по всему, против Арадэли и так выдвинуто обвинений более чем достаточно, иначе почему бы его одного изолировали? И потом, будь Лади Чкония молодым, бессемейным, тогда другое дело — можно было бы пожертвовать собой, глупо, но, по крайней мере, мужественно. А у него дочь замужем, внук, зять... И чем раньше случится неизбежное, тем лучше: пора человечеству объединиться, и, разумеется, лучше, если это произойдет на основе социальной справедливости, как это намереваются осуществить коммунисты. Возвратившись в камеру, господин Лади сложил в углу свои пожитки и угрюмо привалился к ним спиной, точно кто-то собирался присвоить его барахло. Даже госпоже Шунии, которую все интересовало, он отвечал односложно и неохотно.

Оправдание человеческой жизни, ее сущность госпожа Шуния видела в мыслях, действиях и чувствах, реализующихся в двух сферах. Первая определялась порой детства, когда чудесная, полная неги и ласки среда, окружающая человека, представляется ему только преддверием сказочного будущего, где он — требовательный зритель и где все происходящее кажется предназначенным для него. Вторая — тот перелом жизни, когда человек должен сам попытаться создать некий круг, своими силами разжечь искру добра, вынесенную из детства как радость жизни. Эта вера госпожи Шунии омрачалась сожалением, чувством неизбежной утраты, сознанием того, что, какими бы успехами ни увенчались устремления человека, какой бы счастливым свет ни озарял его сокровенную

атмосферу, — что-то неповторимое будет потеряно, перевозданное очарование сохранить невозможно. Не удастся и жить, как в детстве, одними только естественными реакциями, не испытывая влияния наслаивающихся условностей, не успев еще приспособиться к навязанным взрослыми формам существования. Прекрасна луна, выглядывающая из-за пригорка, крупные звезды, запутавшиеся в ветвях деревьев, хоровод светлячков, но для очень многих это никак не связано с позвякиванием колокольчиков возвращающейся с пастбища домашней скотины. Восход солнца — чудо, но не менее интересен ребенок, забравшийся в виноградник и долго замороженно любующийся розовеющими на солнце гроздьями, пока кто-нибудь не кликнет его, вырвав из мира грез.

Как самое дорогое хранила госпожа Шуня в памяти картины счастливого детства. Широкий балкон с резными деревянными перилами. Бабушка щедро угощает усталого путника, а он рассказывает о своих странствиях, Шуня слушает, затаив дыхание, и вместе с ней этому бесхитростному рассказу внимают ласково мигающие звезды. Кому объяснишь прелесть, ни с чем не сравнимый вкус семейных обедов за круглым каменным столом в тени лип в жаркий летний день. А веселые праздники с песнями, плясками.

Светлое Рождество, Новый год, когда у них собирались близкие родственники: всем хотелось встретить утро нового года в их просторном гостеприимном доме. Дети не ложились допоздна, предоставленные самим себе, шалили, тормошили, подзадоривали друг друга, путаясь под ногами у взрослых, занятых приготовлением праздничных лакомств. Нянечки и мамушки не мешали детям резвиться, время от времени отвлекая их каким-нибудь легким делом, чтобы они не слишком шумели. Мало кто из детей мог, как Шуня, не спать до полуночи. Когда маленькую Шуню, полусонную, укладывали в кровать, ей долго еще слышалось гудение камина, в отсветах его пламени она видела, как отец зажигал свечи перед образами, становился на колени и молился, как загодя готовил к утру серебряный кувшин с красным вином, украшал поднос сахаром и гозинаки, как бережно протирал бархаткой золоченую иконку и, перекрестив-

шись, ставил ее на поднос. С детства Шуния знала наизубок Священное писание, и если в Великий пост священник, творя молебен, пропускал хоть одно слово, она поднимала такой рев, что встревоженные родители уводили ее из церкви и старались как-то развлечь и успокоить. Все думали, что Шуния вырастет слишком благочестивой, но ее веселое девичество не оправдало этих надежд. Она не была религиозной, ибо отношение к Богу считала служением идеалу и понимала, что это ей не по силам. Ныне госпожа Шуния все надежды возлагала на Нино, видела в ней гордость семьи, уверенная, что провидение щедро наделило ее фамильными добродетелями. Ираклия она очень любила, но не чувствовала в нем твердости, недоверчиво относилась к его претензиям на храбрость, он напоминал ей мужа, человека образованного, хорошего врача, речистого, но хвастливого и трусоватого. И если к Нино она относилась не только дружески, но и уступала и охотно подчинялась ей, то Ираклия она опекала на каждом шагу и, стремясь оградить его от недоразумений и неприятностей, часто давала советы и наставления, завуалированно или внешне простодушно, чтобы не ранить его самолюбие. Как только Ираклия вызывали к следователю, госпожа Шуния с необычной для себя сдержанностью пророчила:

— Прежде всего надо помнить, что все мы смертны, — потом, когда опешившего Ираклия увели, воскликнула: — Не отстанут от нас наконец эти чертвы дети?!

Госпожа Шуния любила пересыпать свою речь крепкими русскими выражениями, но с тех пор, как они попали в Армавир, ни разу с языка у нее не сорвалось русское слово — бранилась она по-грузински.

Следователь был приблизительно ровесником Ираклия. Он взглядом приказал ему сесть и, не говоря ни слова, долго копался в ящиках стола, точно ища что-то. Ираклий сидел как на иголках, следя с замиранием сердца за каждым его движением, стараясь угадать, какая реальная опасность ему угрожает, как поступит с ним его сверстник. Следователь упивался тем, что богатый господин, завсегда тай великосветского салона, довольный жизнью и избалованный внима-

нием красивых женщин, всецело в его руках и угодливо заглядывает в глаза ему, сыну бедного крестьянина:

— Так, значит, вы офицер добровольческой армии, а точнее — корниловец, — спросил он наконец в лоб Ираклия.

— Помилуйте, что вы, какой я корниловец? Я, как и все молодые люди, просто служил в армии.

— А я вот не был в царской армии, — злобно бросил в ответ следователь.

— Ну, вы, — подобострастно улыбнулся Ираклий, лихорадочно ища, что бы такое приятное сказать следователю, но не нашел подходящего комплимента, к тому же он не был уверен, что будет правильно понят, поэтому стал рассказывать о своих невзгодах: — Знаете, я шесть месяцев лежал в госпитале тяжело раненный, всего две недели назад выписался.

Следователь насмешливо посмотрел на позолоченную палку Ираклия.

— Если хотите знать, я еще в 1912 году принимал участие в студенческих выступлениях в Тбилиси, — Ираклий говорил взволнованно. Он обрадовался, когда ему это пришло в голову, надеясь, что его не смогут уличить во лжи, ведь в кадетском корпусе в самом деле произошло нечто подобное.

— Очень хорошо, — следователь почему-то переменил тон на наставленческий, каким учитель поощряет хорошо отвечающего ученика. — Да, да, этому можно верить, но у вас, как у бывшего офицера, сохранилась ведь честь? — он замолчал, уставившись на Ираклия в ожидании ответа. Ираклий ничего не понял. Слово «офицер» вызвало у него смятение.

— Какая честь?

— Как какая, человеческая честь!

— Ах, да, — Ираклий не знал, что сказать, вопрос показался ему провокационным, но взгляд следователя подбадривал его, ждал ответа.

— Как вам сказать... Знаете...

— А так и сказать. Я думаю, каждый порядочный человек, кто бы он ни был, не должен терять честь и совесть, — доктринерски, но в то же время с каким-то издевательским подтекстом перебил следователь. — Разве не так?



— Да, да, — совершенно растерялся Ираклий.

— Поэтому я не стану вас, как человека благородного и честного, принуждать, — в голосе следователя не было заметно иронии, — можете не отвечать, если не хотите, я просто обязан вас спросить, был ли Арадэли командиром грузинского полка, сформированного им в Петрограде для борьбы против советской власти?

Ираклий провел рукой по лысине. Это не соответствовало истине, но раз они так решили и верят этому, что и как он им сможет доказать? Главное, они, видимо, не знали о его роли в этом деле, а то не беседовали бы с ним так благожелательно и не старались бы заручиться его свидетельством. Да, но это же... Надо немедленно все подтвердить, со всем соглашаться, а то потом будет поздно.

— Нет, если не хотите, не отвечайте, я вас не принуждаю, — продолжил следователь непонятную игру.

«Он в самом деле выглядит честным малым, — успокаивал себя Ираклий. — Везде есть хорошие и плохие. И потом, ведь и для меня в конце концов главное — честь».

— Вам все известно, но я отказываюсь от дачи таких показаний, — промямлил он неуверенно. Наступила тишина. Ираклий уже жалел, что так заартачился, и уже не ждал ничего хорошего, опасаясь, что угодил в ловушку. Ему вспомнились ужасы, слышанные о милиции и ЧК. Ворвется, наверно, сейчас здоровенный детина, потащит его куда-то в подполье и станет пытаться. Следователь снова иронически улыбнулся, что-то записал в протокол и затем громко и отчетливо прочитал:

«Мне известно, что Арадэли в Петрограде для борьбы против советской власти создал «грузинский полк», но давать по этому поводу показания отказываюсь, ибо считаю такой поступок несовместимым с соображениями чести».

— Да, да, — Ираклий почувствовал облегчение. Следователь, задав ему несколько вопросов, встал, протянул протокол сидевшему напротив Ираклию со словами:

— Прочтите и подпишите, проверьте, все ли записано так, как вы сказали. Такое право у вас есть.



საქართველოს  
რესპუბლიკის  
ქვეყნური  
ბიბლიოთეკა

В последней фразе прозвучала насмешка, но обрадованный Ираклий не обратил на нее внимания. Он вежливо улыбнулся и покачал головой, что означало полное доверие к следователю и нежелание перечитывать свои показания. Подписывая, Ираклий соображал, кто из не допрошенных еще грузин мог сказать что-нибудь о «грузинском полке», опасаясь, как бы не рухнуло разом сооруженное из ничем не подтвержденных слов убежище. Видимо, пока никто ничего не показал, но как знать, вдруг кто-нибудь ляпнет, что Ираклий был замешан в этой затее, впрочем, так и оставшейся сотрясением воздуха.

— Когда нас отпустят? — более для подтверждения своей купленной угодным следователю ответом независимости, чем для выяснения обстоятельств спросил Ираклий. Он уже как бы претендовал на это, так как выполнил все, что от него требовали. Следователь напустил на себя прежнюю суровость, ничего не ответил и даже не попрощался с не к месту вспыльчивым арестантом. «Эх, — подумал в коридоре Ираклий, — успею я создать семью, исполнить долг перед всеми, я бы по-другому поговорил с этим грубияном».

В комнату, где содержали грузин, змеей вползла весть о расстреле, все сидели молча, с расширенными от страха зрачками, подавленные, словно посреди комнаты в самом деле свернулось огромное пресмыкающееся, глядя в глаза каждому, нацелив поигрывающий черным пламенем язык. Дежурный увел на допрос госпожу Шунию. Увидев княгиню, явившуюся в грузинском национальном платье и головном уборе, сверкавшую драгоценностями, следователь от неожиданности обомлел. Вместо того, чтобы разыграть и запутать перепуганную даму, как у него было задумано, ему пришлось отражать атаку госпожи Шунии. Желая скрыть свою слабость, он грубо повысил голос, но заставить княгиню замолчать оказалось невозможным. Без толку покричав некоторое время, он убедился, что так ничего не добьется: допрашиваемая просто не желает слушать его, вот и все. Чекистам и в голову не могло прийти, что кто-нибудь осмелится оказать им сопротивление, они к этому были не готовы, тем более, что в данном случае допросы считали пустой формальностью, уверенные, что грузинам не избежать

расстрела. И если с другими пленными следователь лгал, притворялся, здесь пришлось говорить правду:

— Достаточно и того, что вы княгиня, уже за одно это и вас, и ваших детей ожидает смертная казнь.

Но и угроза не произвела впечатления на госпожу Шуню, следователю и тут не удалось потешить свою мелкую мстительность, в глазах ее он прочел, что все это ей хорошо известно, и она не станет думать о своей участи до самой последней минуты. Она не обратила внимания на слова следователя, просто пренебрегла ими настолько, что оставила без ответа и продолжила свою мысль:

— Никому не удавалось построить мир, основанный на злобе и ненависти. Несчастные, вы говорите, что желаете добра народу, но, привыкнув убивать, как же вы сможете творить добро, если душа у вас обуглится и окаменеет. Приведите сюда вашего начальника, я все ему выскажу! И чтоб сегодня же нас выпустили, а не то мы здесь такой кромешный ад устроим, что вы сами не будете рады, такой поднимем крик и шум, что весь город сбежится.

Следователь, красный от злости, совершенно потерял голову и не знал, что делать:

— Хорошо, хватит, подождите, остановитесь, — повторял он, то подходя к двери, то выглядывая в окно, словно собираясь позвать кого-то на подмогу.

— Собственные законы нарушаете, как волки, сегодняшним днем живете, не думая о том, что, когда нас не станет, вы наброситесь друг на друга и попадете в рабство к своим же начальникам!

— Хорошо, кончили, тетенька, кончили, — следователь был рад, что на шум вошла Никифоровна.


— Я тебе покажу тетенька, племянничек нашелся! — уже спокойнее ответила госпожа Шуня. — Передай своему начальнику, что в животе и смерти ты властен, и если Богу угодно обречь нас на смерть, мы примем это как милость, ибо, как говорит апостол Павел: «Скорби без вины есть выражение милости Божьей к людям», — с этими словами она встала, возвела к небу красивые глаза, — вид у нее был такой спокойно-величественный, как-будто она и не думала тут шуметь и спорить — перекрестилась и последовала за Никифоровной недовольная собой: все же она

не сумела высказать все, что хотела, хотя, собственно, кто такой этот сопляк следовательно, чтобы метать перед ним бисер, да и можно ли выразить в словах все, что она за этот год увидела и перенесла, что поняла и почувствовала?! Как назвать злобу, безжалостность, бессмысленную жажду мести, торжество темных сил, — все то страшное, что гнездилось в глазах у этой неказистой и, в сущности, несчастной женщины?!

Тюхин вернулся в свой кабинет, чувствуя прилив энергии, правда, неприятные воспоминания, вынесенные с заседания совета, еще не развеялись, но прогулка на лошади все же частично вернула ему утреннее хорошее настроение. Сейчас надо только окунуться в работу — и все пойдет по-старому. Он быстро взялся за дело. В первую очередь следовало, не откладывая, решить судьбу грузин. Он вызвал чекистов, которые вели расследование, допрашивали пленных, развернул оставленную с утра на столе папку, заглянул в список грузин и не поверил своим глазам — список открывался фамилией Валериана Георгиевича Арадэли.

Тюхин еще до своего знакомства с Арадэли слышал о нем в Петербурге и представлял его себе таким провинциальным авантюристом, иногородцем, приехавшим в столицу делать карьеру. Впервые он встретился с Арадэли в доме княгини Марии Павловны. Тюхин посещал этот дом вроде по-родственному, а на самом деле потому, что ему нравилась Мария Павловна, красота ее вскружила ему голову, и это хоть ненадолго рассеивало преследовавшие его мрачные мысли. На литературных вечерах, которые часто устраивала хозяйка, Мина пользовался правами родственника: появлялся в гостиной раньше всех и покидал ее последним, почтительно прощаясь с княгиней. Он никак не мог понять, догадывается ли княгиня о его скрытой страсти, сам же он не решался намеком или особым поведением привлечь ее внимание и довольствовался возможностью быть рядом с ней. Тюхину в то время пришлось съездить в Цюрих, где он раньше учился. Две недели не бывал он у княгини, и когда по возвращении появился у нее, неуместная преувеличенная официальность и в то же время непри-






крытые проявления близости во взаимоотношениях Арадэли и Марии Павловны возбудили его подозрения. В тот же вечер Мине пришлось испытать еще большее оскорбление. Когда гости ушли и в гостиной остались только Мина, Арадэли и княгиня, неожиданно Мария Павловна улыбнулась ему по-домашнему, как родственнику, извинилась, взяла под руку Арадэли и увела его в свой будуар, оставив Мину одного. Потрясенный Мина не знал, что делать: уйти, не попрощавшись, или вытерпеть до конца позор нанесенной ему обиды. В детстве, гостя на Украине, Мина с товарищами повадились сбивать орехи с чужого дерева. Если ночью поднимался ветер, их радости не было предела. Если же орехи не валялись на земле, они робко, замирая от страха, сбивали камнями три-четыре ореха и, виноватые и счастливые, опрометью убегали, хотя никто за ними не гнался. В одно прекрасное утро он обнаружил, что на облюбванное ими дерево забрался мальчик старше их и безжалостно сбивает орехи огромной палкой. Один мешок был уже полон. Увидев мальчиков, заставших его за этим занятием, он, приставив указательный палец к губам, как ни в чем не бывало продолжал сбивать орехи. Мина и его товарищ растерялись, не зная, кричать, убежать или принять участие в этом открытом грабеже. Они и сами чувствовали себя ограбленными: что мешало им поступить так же, причем раньше? Пока они соображали, как поступить, мальчик слез с дерева, набил карманы и пазуху сброшенными на землю орехами, несколько оставленных нарочно подтолкнул к ним ногой. «Ээ... Кто ты?» — пролепетал наконец товарищ Мины. Мальчик ничего не ответил, взвалил на спину мешок и удалился, напевая что-то себе под нос. Так же чувствовал себя Мина и сейчас. Горечь яростно клокотала в его душе. Может, вызвать на дуэль этого наглеца Арадэли?! Или отпустить Марии Павловне какой-нибудь ядовитый комплимент? Княгиня с гостем вскоре вернулась в гостиную и, мило улыбаясь, попрощалась с обоими. Тяхин увязался за Арадэли, но повода для оскорбления не нашел, поэтому решил встретиться с ним где-нибудь в обществе и, улучив момент, публично унижить. Но сейчас, наедине, смешался под твердым взглядом Арадэли, поняв, что не только непристой-



ность, но даже фривольность не останется безнаказанной. Расставаться с ним Тюхину тоже не хотелось, он знал, что, и без того страдая бессонницей, в эту ночь тем более не сможет заснуть. Было уже поздно, оставалось только пойти в ресторан. Арадэли отказывался, но Тюхину в конце концов удалось его уговорить. С любопытством разборчивой невесты и в то же время снедаемый раздражением и завистью разглядывал Мина широкие прямые плечи Арадэли, охваченные ладно сидящей черной чохой, высокую стройную шею, выступающую из белого архалука, сильные руки, густые волосы, белое лицо, покрытое легким румянцем. Неожиданно для Мины Арадэли оказался не только уверенным в своих силах, бесстрашным мужчиной, но и учтивым собеседником, прекрасно воспитанным интеллигентом. После этого он заговорил о вопросах, которые в последнее время не давали покоя Мине и были предметом его размышлений. Когда Мина раскрыл перед ним душу, поведал о своей тревоге и с беспокойством спросил, не болезнь ли это, Арадэли, мягко глядя на него большими светло-кариими глазами, убежденно ответил: «Не печальтесь, ваше выздоровление зависит от вас, вы должны привести в порядок свое мировоззрение».

Слова Арадэли навели Тюхина на мысль навестить удивительную женщину, ворожею, о которой ему рассказала дряхлая, но упорно не разваливающаяся бабка Ильинична. В свое время раздоры, связанные с образованием Мины, так изобидели строптивую Ильиничну, что даже смерть невестки не примирила ее с сыном. В Москве, где первое время рос Мина, бабка определила его в духовное училище, но в тот же год, как только Василий Великий с женой Екатериной — маленькой, тихой, безобидной женщиной — вернулись из-за границы, они тотчас увезли Мину в Петербург. Ильинична не простила сыну такую бесцеремонность и больше уже не интересовалась судьбой внука. Только узнав о смерти Василия, она вызвала к себе Мину как наследника. Как знать, может, права была бабушка: что дала ему гимназия, пребывание в университете «вечным студентом», год учения в Цюрихском университете? Ничего, кроме сомнений, путаницы в голове и душевного смятения. Мине помнилось, что по-



сле ресторана «Метрополь» он отправился прямо к во-  
рожейе, ему не пришло в голову, что в ресторане с  
Арадэли он беседовал в Петербурге, а женщина жила  
в Москве.

Искать пришлось недолго. С иронической, как по-  
чудилось Мине, улыбкой ему указали на стоящий обо-  
собленно высокий дом, позади которого, в самом цен-  
тре города, тянулась буквально деревенская улица с  
покосившимися от времени деревянными домами по  
обе стороны. Вокруг хижины, пристроенной к глухой  
стене большого дома, группами стояли какие-то люди.  
У дверей хижины суетился белокурый, чубатый, тем-  
ноглазый и чернобровый молодой человек в поддевке  
с засученными рукавами. Он спрашивал о чем-то каж-  
дого входящего, одних впускал, а другим велел подож-  
дать, присоединяя их к той или иной группе по своему  
усмотрению. Появление Мины привлекло внимание  
мрачно одетых мужчин и женщин в трауре. Мина на-  
супился и, потоптавшись на месте, присел на грудку  
кирпича. «Куда меня занесло, — раздраженно спро-  
сил он себя, — что мне здесь делать среди этой черни  
и шарлатанов? Поверил выжившей из ума старухе». Он  
собирался уже уйти, но вспомнил о припадке ма-  
лодушия и остался, безвольно опустив плечи и поло-  
жив руки на колени. Ожидавшие говорили о пережи-  
том, о чудесах: о небесных знамениях. В каждой груп-  
пе был свой главный рассказчик. Лица слушателей  
светились надеждой. Мина прислушался к стоявшему  
в центре ближайшей группы старику с маленькими  
глазками. Еще недавно, года два назад, он любил, сме-  
шавшись с простым народом в людных местах, слу-  
шать их разговоры, запоминал сочные народные вы-  
ражения, но в последнее время ему приходилось на-  
прягать силы, чтобы проследить смысл хотя бы не-  
скольких предложений; собственные мысли поневоле  
отвлéкали его внимание. Вот и сейчас, заинтересовав-  
шись рассказом старика, он стал напряженно вслуши-  
ваться, но ничего не мог разобрать, словно страдал ту-  
гоухостью. Губастый окинул взглядом Мину и, ниче-  
го не спросив, пригласил войти. Войдя в комнату, он  
ощутил приятное тепло. По стенам висели ковровые  
циновки, у стены напротив стояла кушетка, покрытая  
паласом. Посреди комнаты, на маленьком старинном

деревянном столе горела большая свеча, за столом сидела, опустив голову, женщина с распущенными волосами. Пламя свечи было ровным и сильным, видно, ее только что переменили. Мина не успел заметить, был ли у женщины накинут на плечи длинный платок или черный балахон: на него пристально глядели влажные черные глаза, такие же, как у чубатого. Этот вызывающий, исполненный чувства собственного превосходства взгляд напоминал Мине обреченные или созерцающие истину глаза не то блефующего, не то действительно держащего в руках беспроегрышную карту противника. В душе у него вспыхнул крохотный огонек надежды. Кроме бабки Ильиничны, многие другие тоже хвалили эту женщину, называя ее волшебницей. Но Мина все же ожидал увидеть плохую актрису или одержимую.

— Зачем пришел, брат мой? — спросила женщина грудным, воркующим голосом.

— Хочу поверить тому, что о тебе говорят, — искренне ответил Мина.

— Сколько прославленных лекарей помнит человечество за время своего существования, а вылечил ли хоть кто-нибудь из них больного навсегда, выжил ли хоть один страждущий за всю историю медицины? Но вы все же верите им, жадно внемлете их советам и не хотите уверовать в духовных врачей, дарующих вечное исцеление.

Что думаешь ты обо мне? — спросила она, как наживку бросила.

— Ты полагаешь, я пришел потому, что не верую ни во что? — ответил Мина вопросом на вопрос.

— Почему не веруешь, отчего муку терпишь? — простым, проникновенным тоном проговорила женщина как нечто само собой разумеющееся. Неожиданно для себя Мина упал на одно колено и впился в нее взглядом голодного волка.

— Ответь не таясь, веруешь или притворяешься, а может, и себя обманываешь, откройся, молю!

Женщина, глядя прямо в глаза Мине, произнесла:

— Наполнится бассейн водой — тогда и узнаешь ровное ли дно.

Наступило молчание. Как только женщина отвернулась, Мина понял, что не узнает здесь ничего ново-


го. Все же он дождался ответа, выслушал его, опустив голову как побитый, встал и, не говоря ни слова, вышел. Серые облака сочились мелким дождем. Он кликнул извозчика. «Какого дьявола я притащился сюда, что услышал? Уверуй — и прозишь, или: умрешь — и узнаешь? Вот и вся их премудрость. Одно из таких образных высказываний Христа разожгло костры инквизиции». Мине стало холодно, он поднял воротник пальто, вытянул ноги, откинулся на подушки. Он не помнил, сказал ли извозчику, куда ехать. Не помнил, и как была одета женщина, вроде даже она сидела без обуви. «Может, она и сама несчастна и, убеждая других, пытается уверить и себя. Таких в старину объявляли святыми», — подумалось ему. Цоканье копыт по мостовой напомнило звук воды, льющейся из кувшина с узким горлышком. Дождь шел вперемежку со снегом.

Каждая встреча с Арадэли приносила Тюхину успокоение, его застывшие мысли и чувства отогревались и приходили в движение, к нему возвращалась радость жизни. Именно Арадэли посоветовал ему познакомиться с воззрениями христианского мыслителя четвертого века святого отца Ефрема Ассура, касавшимися божественного промысла, провидения, рока, конца мира, Антихриста и его приспешников — народов Севера. После этого Тюхин начал читать сочинения русских пустынников, старцев, церковных деятелей. Тогда впервые он пришел к мысли, что Россия восприняла от христианства в качестве духовного руководства мотив божественного промысла — провиденциализма, что провидение даровало русским наследственную весть мирового царства. Мина часами просиживал в архиве Петербургской духовной академии, погруженный в кирилловские рукописи, хранившие труды церковного писателя XV—XVI века старца Филофея. Этот монах Елеазаровского монастыря наиболее ярко воплотил идеи божественного промысла, неизбежности возвышения Московского царства как последнего богоизбранного народа. Главным для Мины было все же то, что идея провиденциализма касалась не только судеб народов, но и предначертанной Богом участи отдельной личности. Убежденность в предопределенности судеб человечества, в существовании осо-

бых путей, которыми божественное провидение ведет человечество к конечной цели бытия, приносила огромное облегчение мятущейся душе неверующего. Арабэли и представить не мог, что его слова: «Вы должны привести в порядок свое мировоззрение» — так подействуют на Тюхина, что постепенно он фанатично свяжет свою жизнь с судьбой своей нации. Мина пребывал в состоянии живого, почти физического общения с именами носителей русского национального духа. Перед его мысленным взором часто воскресали различные эпизоды русской истории, причем реальные события дополнялись картинами, рожденными его фантазией. Так, ему представлялось бракосочетание Иоанна Третьего и Софии Палеолог, принесшей России в приданое претензии на статус наследницы Византийской империи и герб — двуглавого орла. Ему в подробностях рисовались картины свадьбы: вот один из бояр, поздравляя великокняжескую чету, расцеловался с Иоанном и фамильярно потянулся к Софии, но смиренно повиновался грозному окрику княгини, приказавшей ему коленопреклоненно приложиться к руке великого князя. Мина был уверен, что так все и происходило. И после того, как оробевший боярин исполнил ее повеление, София во всеуслышание объявила: «Отныне да будет ведомо, что всем подданным надлежит лобызать руку государя». Вот державные супруги одни в алькове опочивальни с высокими сводами, слабо освещенной свечами, зажженными перед золотым крестом и образами, София порицает Иоанна за панибратство с боярами. А то вдруг Мина вспомнил про сияющий белый клобук. По преданию Дмитрия Толмача, этот клобук Константин Великий, император Византии, предназначал папе римскому Сильвестру, но волею провидения он оказался в «Третьем Риме» — на Руси, после чего она стала называться — Святая Русь. Не оставил Мина без внимания и легенду о том, что шапка Владимира Мономаха, полученная им от Василия, царя Константинополя, перешла по наследству от Вавилонского царства и принадлежала прежде Навуходоносору. Обладание скипетром и алой тогой — этими инсигниями — делало Русь в его представлении законной наследницей двух империй — Рима и Вавилона.

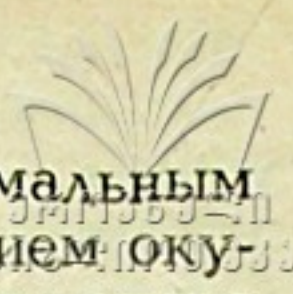
День ото дня Мина успокаивался, день ото дня жизнь его обретала высокий смысл. Он сам дивился, что в хитросплетениях узлов провидения так легко отыскал именно ту путеводную нить, следуя которой он, вероятно, — нет, не вероятно, а несомненно, — развернет свиток своей жизни. И если перед ним возникало препятствие, он был даже рад, зная, что это — слепая случайность, и сосредоточенно приступал к его преодолению. Так произошло, когда он углубился в Данилово толкование сна Навуходоносора. Идол с золотой головой, серебряными раменами и грудью, медным чревом, железными чреслами и деревянными ногами, явившийся во сне Навуходоносору и истолкованный пророком Даниилом как божественное предопределение судеб человечества, означал четыре царства. Евреи так расположили эти царства: 1. Израильское царство — золотая голова; 2. Вавилон — серебряная грудь; 3. Александр Македонский — медное чрево; 4. Рим — железные чресла и медные ноги. Такое объяснение ненадолго омрачило свет, все сильнее озарявший убеждения Мины, но когда он вновь обратился к русским источникам и ознакомился с письмами Васияна Рыло, духовника Иоанна Третьего, Царственной Книгой, Никоновской летописью, Стоглавом, царским словом митрополита Макария при восшествии на престол Иоанна Грозного, письмами старца Филофея к псковитянину Миссурию Минехину, царям Василию Иоанновичу, Иоанну Васильевичу, — строй его мыслей обрел еще большую ясность, и долго еще перед сном повторял он как молитву слова старца Филофея: «Яко вся христианская царства приидоша в конец и снидошася во едино царство нашего государя по пророческим книгам. То есть Российское царство: два убо Рима падоша, а Третьи стоит. А четвертому не быти».

Тюхин как будто окончательно успокоился, лишь изредка в его провиденциально-теократических убеждениях возникала путаница, подобно тому, как водная гладь, потревоженная шальным ветром, взвихрится, взметнется волнами, когда ветер давно уже стих, умчавшись так же внезапно, как налетел. Разумеется, это происходило не случайно. Если б Мина прислушался к своим мыслям, был откровенен сам с собой, то



убедился бы, что в Бога он не верует. Но он не давал этим мучительным, подспудным волнам сомнения обрушиться безжалостной мыслью, тотчас, подобно волнорезу, противопоставлял им лихорадочную деятельность или теоретические доказательства, успокаивался и снова чувствовал себя счастливым. Он часто ходил в церковь, ставил свечу Святому Георгию, молился, поступил на государственную службу, сделался юристом, но началась первая мировая война, и он тотчас ушел на фронт вольноопределяющимся. Мина был уверен, что Россия в короткий срок одержит великую победу или, во всяком случае, выиграет кампанию, твердой поступью продвинется еще глубже в Европу и принудит Германию к подписанию позорного мира. Ход событий, однако, породил у Тюхина противоположные мысли, и не потому, что их кавалерийский полк попал в тяжелую переделку, напротив, тут он мог даже гордиться. Они успешно совершили труднейший ночной переход по узким расползающимся от дождя горным тропам и крутым скалам Карпат, когда порой приходилось, спешившись, продвигаться, держась за конские хвосты. Но все эти бесконечные рискованные маневры оказывались бессмысленными из-за бездарности, беспомощности командования. Недоволен был Тюхин и дисциплиной. В офицерской среде царила разнузданная безответственность, да и солдаты выполняли свой воинский долг без особого рвения. Эта была не та армия, которой предстояло стать властелином мира. Вера в Бога и царя была утрачена, будущее выглядело бесперспективным. «Допустим, мы победим, — думал Тюхин, — но чем можно будет оправдать наше вступление в Германию, Францию, вообще в Европу? Осуществление принципа национализма — привычный образ действий последней мировой империи — тоже невозможно». Оставался религиозный, то есть идейный принцип, но европейские народы уже переболели этой болезнью, так что противостояние католиков и православных не сделало выгоды империи. Разочарование Тюхина обострял еще и факт позорного поражения в войне с Японией, которому он прежде не придавал значения. Получив легкое осколочное ранение, он без стеснения уехал в Москву с твердым намерением не возвращаться на фронт. В





первые дни, истосковавшись по комфорту, нормальным человеческим отношениям, Мина с удовольствием окунулся в светскую жизнь, но безделье и сплетни скоро надоели ему. Он начал было пить, но хмель не приносил облегчения, у него портилось настроение, он без причины брюзжал, впадал в тоску. Близость с женщиной была для него понятием отвлеченным, дамы его круга требовали много времени и внимания, которого в его глазах не стоила ни одна. Случайные же связи, замутненные противоречивыми посланиями, сильно раздражали, не столько доставляли удовольствие, сколько разочарование и неудовлетворенность, обостряя чувство неуверенности в себе. Потом вернулось, казалось, уже преодоленное, переменчивое настроение: то он, ропща, воспринимал любую новость, с тревогой ожидая большого несчастья, то равнодушно реагировал на все происходящее, казавшееся ему блеклыми, безжизненными картинами минувшей жизни. Дни, проведенные со Степанидой, несколько встряхнули и приободрили его, но продолжать эту связь не следовало, тем более, что Степанида вела себя легкомысленно, совершенно не таясь. Тюхин справился об Арадэли, узнал, что он на фронте, вспомнил свои беседы с ним и уехал в Петербург. В столице он снова засел за российские древности, по-новому воспринял распространенные тогда теории К. Леонтьева и Вл. Соловьева о новом Апокалипсисе, гибели мира и Антихристе, сопоставляя их с тибуртинской легендой, в которой героем пророчества о явлении Антихриста был северный народ. В глубокой тиши бесконечных ночей он сливался с видениями Святого Иоанна, бежавшая в пустыню апокалипсическая женщина представала перед ним в образе Степаниды, а себя он воображал преследующим ее красным зверем... С таким трудом достигнутая стройность мировоззрения рухнула, все смешалось и запуталось...

Посольский приказ Великого князя Московского Василия Второго (Темного). Светает. Бледная луна кажется в треугольном окне клочком облака. Здесь не ожидали столь раннего появления Василия, поэтому печи с вечера не топили. Стояла поздняя весна, но толстые стены были в толстом кольце по-зимнему мо-



розного утреннего воздуха. Растерявшиеся из-за неурочного прибытия государя дьяки беспорядочно суетились, часто открывая входную дверь, так что стужа проникла и в приемный покой, где по одну сторону выстроились в ряд несколько духовных лиц высокого ранга, по другую сторону стены стоит на коленях монах в черной рясе, а высокий и тощий князь Василий в шапке Мономаха беспокойно ходит из угла в угол, как загнанный волк. Рядом с католиком стоит горожанин и переводит его рассказ на русский язык. Возвратившийся почему-то с Флорентийской унии в Москву Григорий Иверский только что закончил доклад о состоявшемся во Флоренции Восьмом Вселенском церковном соборе. Василий Темный ожидает человека, посланного за митрополитом Исидором. Исидор, грек по происхождению, прибыл сегодня, но еще не докладывал Великому князю о церковной унии, поэтому Василий зол, хотя и сдерживается, не подает вида, намереваясь разом рассчитаться за все с этим Иудой.

— Кто еще был против объединения православной и латинской церквей? — спрашивает Василий католика.

— Митрополит Эфесский и Исаяя.

— Всего три кафедры! Выходит, Константинополь отказывается отстоять истинную веру; признает невозможность борьбы с турками, ха-ха! Второй Рим признал свое поражение! — Василий останавливается перед переводчиком, крутит сложенные в руке четки, как пращу, и с любопытством вопрошает: — А ты почему был против объединения, тебе что хотелось? — переводчик не выдерживает взгляда Великого князя, опускает глаза и переминается с ноги на ногу. — Мы! Мы должны были быть против! Народ русский татарским игом искупал свои грехи, и Господь благословил его, нарек новой Византией. Нам должно высоко поднять брошенный в грязь крест истинной святой веры.

— Аминь; — крестится коленопреклоненный монах. Василий поворачивается к нему всем станом и саркастически продолжает:

— Митрополит Московский согласился на супрематию папы римского, тем самым перечеркивается;

будущее нашего народа, главенство всех славян, деяния деда моего Дмитрия Донского пропадают втуне, окончательная победа над монголами лишается смысла! — Василий снова мечется по комнате и тихим голосом, скрежеща зубами добавляет: — Нет, а все же вы почему были против? — на этот раз переводчик стоит неподвижно, как сфинкс. В сенях слышится шум, в комнату сломя голову вбегают боярин:

— Великий князь, митрополит Исидор бежал из Москвы!

— Ах, собака! Иноплеменная тварь! — орет Василий Темный. Утро, но луна растет, темнеет и багровым шаром подступает к окну. А может, это не испускающее лучей светило — не луна, а солнце без ресниц?

Тюхин в 1915 году попал в большевистскую среду, познакомился с трудами Маркса и Ленина, и его беспорядочные мысли качнулись в противоположную сторону: «Разве светские деятели России, и даже цари, были искренне верующими? Но в провиденциализм они, безусловно, верили. Разве письма Ивана Грозного к Андрею Курбскому писаны рукою христианина?» Мина признался себе, что не верит в Бога, и со всей энергией окунулся в революционное движение.

Тюхин почему-то переводчика Григория Иверского отождествлял с Валико Арадэли, хотя внешне они совершенно не были похожи. И теперь, обнаружив во главе списка пленных фамилию Арадэли, снова вспомнил сцену, разыгравшуюся в посольском приказе Василия Темного. Это не было ни сном, ни видением, это было следствием такой глубокой убежденности, картиной, до того подробно воссозданной воображением, что Мина ощущал себя непосредственным свидетелем происходившего, сочувствующим страстям участников столь давнего события. Одного не мог взять в толк Тюхин — при чем тут Арадэли? И как оказался он среди этих пассажиров-грузин? Неужели это в самом деле Валериан Георгиевич? Мина пробежал глазами протоколы допроса, ища фамилию Арадэли, дошел до показаний Лади Чкония. Да, так и есть, он словно чувствовал. «Пусть так, что с того,

допустим я его совсем не знаю. А вообще-то интересно взглянуть на него, вдруг однофамилец?» Он пока не решил, как поступить: вызвать Арадэли к себе и возобновить знакомство или навсегда вычеркнуть его из своей памяти, как в кабинет вошли Никифоровна и следователь в форме. Следователь раздраженно заговорил:

— Много всякого навидался я, служа в канцелярии полиции, при скольких допросах присутствовал, а такой ведьмы, как эта старуха, не встречал. Товарищ Гюхин, прошу поручить допрос женщин Никифоровне.

— Никифоровна неграмотная, а то и без тебя догадались бы, — резко оборвал его Тюхин, даже не поинтересовавшись, в чем дело, и потребовал протокол допроса Арадэли. Оказалось, что его, не допрашивая, перевели в тюрьму.

— Нет никакого смысла допрашивать его, Мина Васильевич, он командир иверского полка, готовившегося к борьбе против советской власти. Да и сам он, как установлено, анархист и контрреволюционер, — следователь приписал раздражение председателя ЧК отсутствию протокола допроса Арадэли и, стараясь отвести от себя начальственный гнев, ввернул шутку: — Хороша, видать, птичка, и клетку ей нашли хорошую.

В кабинет с сияющим лицом вошел Гуров. Тюхин тотчас догадался, что Гуров принес хорошие вести с солдатского совета, отпустил чекистов и приготовился слушать.

— Весть о самоубийстве Кислякова восприняли скорее с любопытством, чем с сомнением или сожалением. В общем это большая победа. Если не сегодня-завтра свернем шею казакам, то вся власть будет в наших руках, — радостный Гуров расхаживал по комнате, энергично жестикулируя. — Короче, положение в корне изменилось, и я думаю, на данном этапе расправа с грузинами будет не оправданна, — Гуров ожидал возражений, но Тюхин сидел молча, ожидая, пока тот выговорится до конца. — Мы прямо заявили, что Кисляков нарушил демократические принципы, что он к решению некоторых вопросов подошел с анархистских позиций. Теперь надо убедить солдат

конкретными примерами преступлений их начальника, и, по-моему, лучше всего использовать для этого расстрел грузин. Поэтому мы должны освободить наших пленных грузин. Это будет укором и солдатам, мы дадим им почувствовать, что в преступлениях Кислякова есть доля и их вины. Это для нас выгодно, с какой стороны ни посмотри. Во-первых, виноватыми легче управлять, во-вторых, население города увидит, что мы приверженцы порядка. И, наконец, национальные комитеты, которые пока существуют и пользуются некоторым влиянием среди населения и которые сегодня вручили мне прошение об освобождении грузин, останутся довольны.

— Мы забыли об одной мелочи, — произнес, вставая, Тюхин. — Они не виновны, и, главное, они располагают письменным разрешением правительства на возвращение в Грузию. — Оба рассмеялись. — Посмотрим, — продолжал Мина, — вот прочту показания, как бы не упустить что-нибудь. Говорят, среди них есть один анархист или белогвардеец.

— Вот его одного и оставим!

С этими словами Гуров вышел. Мина вернулся на свое место и некоторое время сидел не двигаясь. Принятое решение шло вразрез с его прежними намерениями, но он был восхищен проницательностью Гурова. Так или иначе судьба грузин прояснилась, встреча с Арадэли становилась неизбежной. Возможно, это и не он вовсе, пытался обмануть себя Мина, но внутренне уже готовился к встрече с Арадэли. По телефону он распорядился прекратить допросы грузин, вызвал следователя, расспросил, как характеризовали Арадэли допрошенные, еще раз просмотрел показания и отрядил вместе с Егоровым двух охранников за арестованным.

Начальник станционной милиции, по-видимому, хорошо умаслил Егорова: он держался с пленными виновато и даже сочувствовал им. Хотя за Арадэли он явился с двумя охранниками, все же сумел по дороге шепнуть, что ведет его на допрос к председателю ЧК, человеку вспыльчивому, и посоветовал Арадэли не вступать с ним в спор, чтобы не повредить себе.

Увидев Тюхина, Валико не очень удивился, только улыбнулся: «Вот, оказывается, что означал сон» — Чему улыбаешься? — спросил Мина, не здороваясь.

— Так, никогда не знаешь, где с кем встретишься, — Арадэли умолчал о подлинной причине, опасаясь, что Тюхин неправильно его поймет.

Мина с любопытством взгляделся в старого знакомого. «Изменился, — почему-то с удовлетворением подумал он. — Нос удлинился, волосы поредели, нет того румянца, что так очаровывал всех». Только не соответствующая его положению непринужденность и веселые искорки в казавшихся огромными из-за худобы глазах Арадэли удивили Тюхина, подействовали на него как оскорбление, и первоначальное намерение придать встрече благожелательный характер, сменилось сухим деловым тоном.

— Итак, Арадэли, вы обвиняетесь в том, что намеревались сформировать иверский полк. Что можете сказать в свое оправдание? — в подтверждение своих слов Тюхин раскрыл папки. Валико убедился, что доброго отношения от этого человека ждать не следует, и тихо, но убедительно ответил: — Да, намеревался, но это делалось по желанию и с разрешения властей Смольного, на основании их просьбы.

— Свидетели утверждают другое.

— Что же?

— Полк формировался для борьбы с советским правительством.

— Во-первых, полк не был создан, он не существовал, во-вторых, как я уже показал, уважаемый председатель, правительство Смольного было в курсе дела и в разрешении на наше возвращение поименован каждый, — последнее слово он произнес подчеркнуто по слогам, — пассажир, а это, вероятно, означает, что советское правительство не предъявляло им не только никакого обвинения, но и претензий, и для их возвращения, несмотря на столь трудное время, выделило целый санитарный поезд, — преувеличенно вежливый ответ Валико звучал почти иронично.

— И все же большая часть личного состава иверского полка оказалась корниловцами и уже расстреляна.

— Где? — не сразу сообразил Арадэли.

— Здесь, в Армавире, на солдатском митинге, — торжествующим тоном ответил Тюхин и, увидев, как тень легла на лицо Арадэли, иронически добавил: Выходит, вас хотят оклеветать.

— Несправедливость всегда ссылается на клевету.

— Будет вам, Валериан Георгиевич, прикидываться невинным ягненком.

— Формальная и фактическая сторона создания иверского полка именно такова, и если тебя, Мина Васильевич, интересует другое, в частности, состояние моего духа, то оно почти не изменилось, чего нельзя сказать о тебе.

— В жизни истина меняется, а ложь неизменна, — выпалил Мина заготовленный заранее ответ.

— О какой истине ты говоришь?

— О социальной справедливости, народном благе, свободе.

Валико не удивило, что беседа приняла такое направление. Он часто встречал спорщиков, которые цеплялись за коммунистические догмы, когда надо было отвлечь противника от существа вопроса. Он много раз зарекался вступать в полемику с такими людьми, но ему редко удавалось сдержать себя. Эти догмы, выдаваемые за непререкаемые истины, эти мнимые добродетели, по мнению Валико, необходимо было высмеять и посрамить. И на сей раз он не счел возможным смолчать, ведь, в сущности, этот диалог был допросом.

— Как будет достигнута социальная справедливость?

— Ликвидацией частной собственности.

— Тем самым будет ликвидирована одна из очевидных форм проявления жизненных потребностей человека, и неизвестно, какие извращенные формы обретет она в сублимированном виде.

— Вместе с частной собственностью будет уничтожена и эта потребность!

— Частная собственность породила потребность или потребность — частную собственность?

— Это следует рассматривать в диалектическом единстве.

— Встретившись с противоречием, вы тут же



вспоминаете о диалектике. Эх, Мина Васильевич, Мина Васильевич, одно думаешь и совсем другое говоришь. Ты прекрасно понимаешь, что это приманка и что за дела прикрывает эта демагогия. А ошибка твоя вот в чем. Ты не хочешь поверить, что, опираясь на зависть, практикуя грабеж, поклоняясь насилию, человек не станет лучше, несправедливость не приведет в царство справедливости, и нынешние несчастья не станут залогом будущего счастья. И если растоптать и отбросить моральные ценности, которые с незапамятных времен по капле, по крупице копил человек, он снова превратится в дикаря. Вода медленно нагревается и столько же времени остывает.

— Революция повысит температуру.

— Сосуд не выдержит. Человек как моральная субстанция будет принесен в жертву.

— Рождение Христа вызвало гибель десяти тысяч младенцев.

— Он и сам принял мученическую смерть.

— Мухаммед во время взятия Мекки разрушил языческих идолов в Каабе. Так что же, обвинять его в уничтожении историко-культурных ценностей?

— Ты говоришь не то, что думаешь, поэтому прекратим спор.

— Почему? Я говорю со всей откровенностью: мы хотим свободы для народа.

— Как ты думаешь, кто более свободен: я, арестант, или этот косоротый матрос, что привел меня к тебе?


Мина рассмеялся.

— Вот и отпусти тебя с такими твоими мыслями, и куда же — в Грузию, где вскоре будет решаться вопрос о судьбе Кавказа и вообще Востока!

— Вы задумали поход на Кавказ, не так ли?

— А как же! Россия не зря изгнала в 1863—1864 годах полмиллиона кавказцев из Анапы, Новороссийска, Туапсе, Сочи, Адлера, Хосты, Псоу, Гудаут. Завоевание Кавказа — естественное следствие роста российской государственности. Мы в 1567 году возвели крепость на левом берегу Терека. Ваш царь Кавхети Александр Второй еще в 1586 году просил нашего государя Феодора Ивановича о приеме под свое покровительство; Бакинская и Дербентская экспеди-





ция под командованием Бухгольца при Петре Великом; покорение Суворовым и Румянцевым Крыма и Новороссийска; в 1774 году Турция была вытеснена из Имерети и Гурии. Вы что же думаете, великий план Потемкина под названием «Восточный вопрос» будет забыт и не найдет продолжения в новой России?

— Нет, я думал, вы осуществляли это бессознательно.

— Кто бессознательно, а кто и сознательно!

— Завидная у вас память, Тюхин!

— Один из моих пращуров был первым посланником на Кавказе. Начиная со времен Ивана Грозного немало представителей нашей фамилии пожертвовали собой во славу России.

— Патриотизм — прекрасное чувство, но чрезмерная любовь к своему народу обладает огромной потенциальной ненависти, — задумчиво произнес Валико. Слова Тюхина подействовали на него угнетающе. Разумеется, в них не было ничего нового или такого, в чем Валико сомневался бы, но когда противная сторона признала все это, сказанное стало уже неотвратимой реальностью. Валико вдруг представил себе, что Нино допрашивает эта страшная лупоглазая женщина, подсознательно видевшая в ней причину своего несчастья и вымещавшая на Нино злобу за свои неудовлетворенные женские инстинкты: грубо обращается, может, даже рукоприкладствует. Валико кровь бросилась в голову, он встал, попросил воды, выпил и спросил:

— Как вы собираетесь поступить с пленными грузинами?

Тюхин, задумавшись, помедлил с ответом. Волею случая в его руках оказалась жизнь этого человека. Он вспомнил труп, вынесенный из буфета, как бревно, и свою роль в этом деле. Так же спокойно он превратит в труп стоящего сейчас перед ним. А есть ли в этом необходимость? Мина перебрал в уме возможные последствия освобождения Арадэли и, учитывая незаурядность его личности и их былую близость, решил быть откровенным:

— Всех отпустим, кроме тебя. — Тюхин и сам не смог бы объяснить, почему он обращался к Арадэли

те на «ты», то на «вы». Скорее всего, он невольно вторил своему собеседнику.

— А от меня что вам нужно? — рассмеялся Валико. Тюхин подошел к окну, обернулся и заговорил так, словно читал приговор стоящему перед ним Арадэли:

— Чтобы завоевать весь мир, надо сперва одолеть человека в собственном доме. Определить под силу это государству или нет очень просто: достаточно ли у тебя власти, чтобы убить именно невинного? Если у государства сила, доставляющая страдания, превышает силу, дарующую благополучие, — такое государство может создать империю. Иными словами, империя могущественна тогда, когда ее оружие, тюрьмы, виселицы, веревки лучше, чем пища, одежда и жилище. Революция — такая же подлинная свобода, как и война. Человек сам порождает смерть, упреждая природу и тем самым побеждая ее. Лично я не могу смириться с физиологической смертью, она унижительна, ибо делает человека беспомощным ничтожеством. — Тюхин остановился, потрянул головой и с каким-то озлоблением договорил: — Государству не нужен мир, в нем не должно быть спокойствия. Никаких расслабляющих факторов! Рим погиб от хорошей жизни. Россия должна оздоровиться — эта толстозадая Россия!

Этот монолог произвел на Валико большое впечатление. У него были свои взгляды на русский национализм. По его мнению, национализм Киевской Руси под игом монголов стал глубоко религиозным, а после Флорентийской унии преобразился в мессианизм. Петр Первый возбудил в трансформированном мессианизме имперские аппетиты. На современном этапе Валико считал империализм эзотерической сущностью русского национализма. Поэтому, как бы цинично ни звучали откровения Тюхина, Арадэли был благодарен ему за то, что он сбросил маску лжи и двуличия. Тюхин это почувствовал, довольный вернулся к письменному столу, скрутил две папиросы, протянул одну Валико, поднес спичку. Валико затаился несколько раз подряд и произнес:

— А все-таки выходит, что я невинный ягненок.

Теперь засмеялся Тюхин. В кабинет заглянул Графинка:

— Мина Васильевич, я насчет лошади.

— Пошел вон, — гаркнул Тюхин. Наконец он дошел до главного, не начинать же сначала. — Если отпустим вас, Валериан Георгиевич, — быстро заговорил он, — тотчас по прибытии в Грузию вы развернете деятельность, направленную против нас. Вы принадлежите к той горстке людей, что видят не цветы, а корни сегодняшних проблем, представляют себе вкус плода, хотя должен сказать, тут ваша позиция безнадежна. Малые народы, к сожалению, обречены, и не только у нас — везде. Их ассимиляция, насильственная или самопроизвольная, исторически предрешена. Что же касается Третьего Рима, идеи новой Российской Империи, то она предполагает создание и новой культуры.

— Только свободные греки смогли создать самобытную культуру, Римская империя создала только цивилизацию, — возразил Арадэли.

— Именно потому, что ты, человек многоопытный, столько повидавший в жизни, все же остался идеалистом, повторяю, именно потому нельзя тебя освободить. — Заметив, что Валико быстро посмотрел на окно, Мина с улыбкой добавил: — Внизу два вооруженных охранника, еще два — в коридоре.

Рассуждения Тюхина звучали основательно, мысль привлечь его на свою сторону, переубедить показалась Арадэли вздорной. «Нино выпустят, всех, наверно, выпустят... Будет ждать у дверей? А когда увидит, что меня нет?» Физической болью навалилась на него печаль, отчаяние, желание еще хоть раз увидеться. Необходимо что-то сказать, может быть, это последняя возможность? Часто оказывался он на грани жизни и смерти, часто от него требовали всего одного слова — отказа от чего-нибудь или мольбы о прощении. Порой он понимал, что неправ, что отступление с его стороны будет расценено всеми как шаг разумный, а не как малодушие, но самолюбие оказывалось сильнее доводов рассудка. Сейчас же он поймал себя на том, что не знает, как поступить, и, то ли желая выиграть время, то ли надеясь на что-то, произнес:

— Судьба благосклонна к вам.

— В этом наша правда, — последовал ответ.

Валико знал, что, размышляя и рассуждая, можно высмеять любые принципы, любой благородный поступок приписать гордыне или счесть нецелесообразным. Любой низости можно подыскать оправдание, стоит только в критический момент поддаться искушению, как все окажется допустимым и легко осуществимым. Обуреваемый этими мыслями, стоял он, собираясь уходить, но Тюхин не вызывал дежурного, сидел молча, уставившись в одну точку. Мысли его двоились, ему одинаково хотелось и освободить Арадэли и расправиться с ним, но каждый раз какое-нибудь воспоминание мешало ему принять решение. Духовно он был в долгу перед своим старым знакомым, и именно эта интеллигентская щепетильность раздражала его. Он бы с удовольствием, верный своей натуре, забыл Арадэли, словно и не знал его никогда, но какой-то подспудный страх душевного разлада затруднял выбор. Столкнулись не только противоречивые чувства, но и логически выстроенные понятия, и лишь одна мысль доминировала, требуя гарантий: Арадэли должен выйти из игры:

— Спасибо за правду. Прикажите увести меня.

Мина встал и извиняющимся тоном произнес:

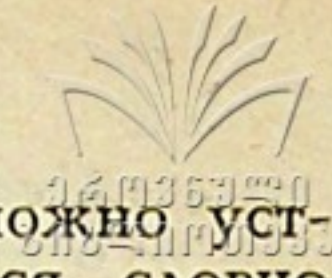
— Может, дашь слово ни во что больше не ввязываться...

— Во что не ввязываться?

— Да нет, я так сказал, вообще...

— А я не понял — что ты сказал? — Тюхину слышались в вопросе Валико просительные нотки.

— Ну, если займешься чем-нибудь другим, скажем, обзаведешься семьей, или уедешь за границу и не будешь больше вмешиваться в политику, не знаю, говорю же тебе — может быть. Дело не в том, что ты представляешь какую-то опасность для революции, нет, ничего ты не добьешься, никто за тобой не пойдет. Твоя правда слишком истинна, чтоб в нее поверили. Тут дело принципа — ты сознательный и убежденный противник, поэтому должен быть ликвидирован. Но если дашь обещание или как-то заставишь меня поверить, что выйдешь из игры, я мог бы рискнуть и отпустить тебя. Правда, это еще надо будет согласо-



вать, и не знаю, удастся ли, но, думаю, можно устроить. — Валико пошатнулся и зажмурился, словно ему плеснули в лицо вином. Мина во избежание неприятностей вызвал дежурных, но потом, взглядевшись и заметив расслабленность Арадэли, осмелел и на прощание доверительно сказал: — Покойный батюшка мой говаривал, что все в жизни глупость. Если надумаешь, попроси привести тебя ко мне, но сегодня же, завтра будет поздно. Что ж, поступай как знаешь, а на меня не пеняй. На вот, возьми, — и насыпал в карман стоявшему неподвижно Арадэли табак, потом приказал вошедшим с револьверами наготове чекистам: — Уведите! — и сам первый вышел из кабинета быстрым шагом.


Валико лежал на цементном полу. Темнело. Многократно уже обдуманное требовало конкретного ответа. В душе он давно все решил, поэтому отметал невольно одолевавшие его вопросы. Он пытался вспомнить что-то неясное, ускользающее, оставившее в памяти неповторимое, трепетное настроение, ощущение хорошо знакомого, хоть и безымянного, призывного эха, звучавшего в душе, как вечерний звон. Это было дуновение сверхчувственного мира, некий головной знак, след солнца, канувшего между небом и морем. Затем в сознании его возник длинный ряд видений, некоторые из них превратились в мысли, а иные так и остались расплывчатыми образами. Оторвавшись от бесконечности, звезда угасла, мерцая и извиваясь. Восставший из глубины веков воин с копьем и затерявшаяся в безбрежном океане крохотная рыбка слились в один образ, близкий и родной, неразрывный с ним самим. Валико вспомнилась повесть Нестора-Искандера, участника осады Константинополя, где он пишет, что только русское племя покончит с турками. Такая же надпись украшает могилу Константина Великого, что засвидетельствовано не только в русской, но и в грузинской летописи. Так стоит ли противиться, не имея даже достойного единомышленника? Вот он готовится встретить любые бури и невзгоды, требует от других жертв, а ведь, если быть откровенным, ничего особенного не случилось, он и сам давно уже хотел бросить все и затеряться в неизвестности. Главное заключалось в том, что прежде, даже в столь без-



надежном положении, Валико верил: кто-то должен следовать истине, кто-то должен преодолеть разбитую колею истории, если столбовой дороги не видно, то хоть тропинки не должны зарости травой. В последнее же время Валико и в этом усомнился, ибо сам утратил ориентиры. Порой он задумывался, не слишком ли большие претензии предъявляет жизни, ведь живут же другие, если не счастливые, то во всяком случае спокойные, довольные и простой человеческой жизнью. Может, это чрезмерная гордыня? Если защита своего достоинства от насильника и обидчика — гордыня, то что же тогда унижение слабого? Столь долгое топтание на распутье было изменой самому себе. Ему выпало великое счастье — он встретил человека, о котором мечтал всю жизнь. Правда, лучше было принять это решение раньше, но пренебрегать внешними причинами — значит представлять события односторонне. Плод может засохнуть, так и не упав с дерева. А существует ли другой выход, изменяет ли он кому-нибудь, и что в этом плохого? И все же, когда его во второй раз вели наверх, в кабинет Тюхина, он чувствовал необычное волнение. Все логические нити его существования предвещали неминуемую гибель, единственным утешением оставался вчерашний сон, видно, провидению так угодно, пытался он успокоить себя.

После того, как Тюхин допросил Арадэли, у Гурова состоялось экстренное заседание, на котором Семен Моисеевич, пяля глаза на Гурова, долго и многословно возражал против освобождения грузин, но ничего не добился. Было решено во избежание каких-либо неожиданностей отпустить пленных грузин в десять часов вечера.

Время близилось к восьми часам, а вопрос Арадэли все еще оставался открытым. Когда Мина вернулся в кабинет, было уже темно. Некоторое время он сидел у окна, не зажигая огня, досадуя на себя за то, что снова внес неясность в почти уже решенный вопрос, оправдываясь тем, что не ожидал такой живой реакции Арадэли на его минутную слабость. «Видно, и стойкость небеспределельна. Сломался Арадэли, сломался...» Во дворе, освещенные лампой, мелькали караульные. Некто в балахоне отделился от об-



щей группы и направился в его сторону. Тюхин подошел к столу и отодвинул стул, собираясь сесть. Тусклая полоска, метнувшаяся на мгновение от двери к окну, сообщила ему, что в комнату кто-то вошел.

— Бога молю и челом бью — нищий чернец Филофей!

Тюхин грузно опустился на стул.

— Твоя идея уже отслужила свое и тяжелым камнем лежит на пути возрождения абсолютной государственности российской, она нуждается в обновлении. Духовность русского человека, базирующаяся на внедренной веками воспитания и укоренившейся в подсознании мысли об избранности и исторической миссии русского народа, оказалась в тупике, и именно коммунизм выведет ее из этого тупика. Только диктатура в силах воплотить в явь твои слова о том что всем подобает рабская покорность перед лицом государства. Маркс, как и Христос, был крещеным евреем, и коммунизм также сулит народу рай. После вас мы не раз вступали в Европу, но у нас не было повода, чтобы утвердиться в ней. Теперь у нас есть Ленин, который проповедует: «Политика обладающего государственной властью пролетариата в национальном вопросе состоит в настойчивом и фактическом проведении в жизнь сближения рабочих и крестьян всех национальностей и их слияния». — Мина умолк в ожидании ответа, но вокруг царила тишина... Потом послышался какой-то шорох, и снова мелькнула серая тень. Тюхин громко рассмеялся. Он все еще медлил зажигать свет в кабинете: увидят, что он у себя, и навалят с разными делами. Скоро явится есаул Матвеев, придется ехать в станицу, чтобы не упустить проведения казачьего круга. А ему хотелось хоть недолго побыть одному.

«Говори, в чем виноват!» — над головой у него стоял Семен Моисеевич. Мину словно ударили по лицу мокрым мохнатым полотенцем. Наверное, так же почувствовал себя Арадэли, когда Тюхин бросил ему обвинение. «В чем виноват, не понимаю?» Семен Моисеевич надменно прищурился, потом повернулся к пьяному Егорову, который неверным шагом надвигался на Тюхина, держа в руках раскаленный шомпол. «Смотри-ка! Выходит, это я был помещиком, я учил-

ся в Цюрихе, а не ты! Мой отец спину гнул на мелко-го лавочника, считался беднейшим человеком во всем Кишиневе и получил смертельный удар топором по голове от такого же черносотенца, как ты. Подписывай, или я тебя научу, как царскому офицеру обманывать советскую власть!» — «Да, да, — поддакнул Егоров. — Привыкай к морскому порядку! Дай-ка я тебе ухо проткну». Обливаясь холодным потом, Мина встал, чиркнул спичкой, зажег свечу, вышел в коридор и приказал дежурному привести Арадэли.

Трудно оказалось произнести только первые слова, потом все получилось быстро и как бы само собой. Гюхин взял с Арадэли честное слово, что тот прекратит всякую политическую деятельность и, неезжая в Грузию, отправится за границу. Взамен председатель ЧК распорядился перевести Арадэли к остальным грузинам и к десяти часам всех отпустить.

Войдя в комнату, Валико застал всех за суетливыми сборами. Им только что объявили о предстоящем освобождении, и стоял такой гомон, что, кроме Нино и возившихся у дверей монахов, никто не заметил его появления. Нино вздрогнула, словно ей крикнули в ухо, лицо ее озарилось радостью, она рванулась к Валико и крепко обняла его. Эта была их первая разлука и первая встреча. Дверь с шумом открылась. В коридоре показались Долговязый, Никифоровна, Егоров и рыжий начальник милиции. Стоявшие у двери монахи перекрестились, один из них пробормотал: «Сжалилось небо над нами, слава тебе, Господи!» Никифоровна и Долговязый держали в руках по железнодорожному фонарю, а Егоров размахивал списком грузин.

— Кого выкликну, выходи с вещами, — весело объявил Егоров громким голосом. Долговязый тоже улыбался, а Никифоровна не смотрела никому в глаза. Во дворе начальник милиции по-грузински давал советы пленным:

— Полагайтесь каждый сам на себя, добирайтесь как сумеете, на поезд не надейтесь. Эту ночь можете провести на квартирах членов национального комитета.

Потом он подошел к Лади Чкония и Закария Ава-



лишвили, что-то сказал им, подозвал Егорова, послал его к охраннику, и освобожденные грузины очутились на улице. Валико поднял глаза и увидел в крайнем окне второго этажа большую неподвижную тень. Сердце у него сжалось, предчувствуя недоброе, но, взглянув на радостно возбужденную Нино, он разом все позабыл.

С противоположной стороны к ним направились несколько человек, оказавшиеся членами армавирского грузинского комитета. Они разделили освобожденных на несколько групп и быстро разошлись. Семейство Ишхнели, Валико и еще одного, одетого в черкеску, взял под свое покровительство Михаил Мирелашвили, служивший в армавирском акцизном ведомстве. Он разбил свою группу надвое, предупредил их, чтоб они по дороге не шумели, и сам пошел впереди. Валико снова взвалил на спину мешок с ишхнелевским добром. Похолодало. Нино отдала свою короткую шубейку матери, усталой и измученной. Нино знобило, но она уверяла, что это не от холода. Может, так оно и было, но Валико все же накинул на нее шубу. У одетого в черкеску на поясе уже не было ножен. Видно, кинжал ему не вернули, или, боясь неприятностей, он и не потребовал? Наверно, потому и ножны снял. Нино и Валико неторопливо о чем-то перешептывались и, увлекшись, оторвались от остальных и почти поравнялись с хозяином, который попросил не догонять его, а идти вроде каждый сам по себе. Мирелашвили робел. На улице не было ни души, но луна светила так ярко, что он боялся, не слишком ли хорошо их видно на улице. Изредка где-то тявкала собака, вслед за ней начинали лаять другие собаки, но вскоре город снова погрузился в безмолвие.

Наконец подошли к небольшому двухэтажному дому. У ворот кто-то дожидался хозяина.

— Мой тесть и наша правая рука, — представил Мирелашвили гостям старика.

На пороге долго вытирали ноги, пока дородная хозяйка не прервала это затянувшееся проявление вежливой благодарности и не указала каждому его временное пристанище. В доме было тепло и уютно. Пока гости умывались и приводили себя в порядок, в большой комнате на втором этаже хозяева накрыли

обильный стол с чисто грузинскими угощениями. Муж-  
чина в черкеске уже давно потирал руки и говорил  
с имеретинским акцентом:

— Что-то нос у меня чешется, наверняка напьюсь  
сегодня, — и просиял, увидев на столе грузинское ви-  
но. С удовольствием погладив седые усы и шевелюру,  
он уселся за стол, не дожидаясь приглашения и пото-  
рапливая остальных гостей, плеснул немного вина в  
большой бокал, посмотрел на свет, понюхал, одобри-  
тельно кивнул, пригубил несколько раз, с удовольст-  
вием причмокнул, на мгновение задумался, припоми-  
ная что-то, и радостно воскликнул: — Держу пари, это  
тавквери!

— Вы угадали, это действительно вино тавквери,  
— охотно подтвердил хозяин. Нино и Валико ходили,  
двигались, разговаривали, словно листали заветную  
волшебную книгу. Откуда-то издалека им слышалось  
пленительное пение сирены и нежнейшая неземная  
музыка. Чувства их были пылкими и благоговейно  
трепетными одновременно. Все произошло так быст-  
ро, что Валико не успел объяснить Нино свое положе-  
ние, узнать, готова ли она к такой жертве. В ее согла-  
сии он не сомневался, но все же считал необходимым  
обсудить с ней столь серьезный шаг. Беспокоило его  
и то, как отнесутся к этому госпожа Шуня и особен-  
но Ираклий, даже не поздоровавшийся с ним при  
встрече. Гости проголодались, да и угощение было на  
славу: сациви из индейки, лобио с орехами, вареная  
кураца с чесночной подливой. Тесть Мирелашвили,  
без устали носивший из расположенной на первом  
этаже кухни кушанья и закуски, когда гости уселись  
за стол, робко взглянул добрыми глазами на зятя.  
Мирелашвили догадался, что его тревожит, и обра-  
тился к гостям:

— Мой тесть хочет узнать, не тесно ли будет у  
нас сегодня ночью? Думаю, разместимся, впрочем,  
если угодно, мой тесть почтет за честь принять вас в  
своем доме. Живет он по соседству, тут рядом.

— Нет, нет, в тесноте, да не в обиде! Поместим-  
ся, что за вопрос! — ответил за всех мужчина в чер-  
кеске, боясь, что придется покинуть стол, уставлен-  
ный яствами. Несмотря на замечание госпожи Шу-  
нии, все начали говорить по-русски, но потом все же

переходили на грузинский язык. Михаил Мирелашвили гордился, что его русская жена научилась так искусно готовить грузинские блюда:

— Я ее научил, господа, сделал грузинкой, вот с дочерью нет сладу, — не знает по-грузински, впрочем, не ее вина, я мало бываю дома.

Его дочь Тамара, девочка лет четырнадцати-пятнадцати, смущенно улыбалась, опустив большие красивые черные глаза. Мирелашвили отпустил тестя, сказав ему, чтоб он шел отдыхать и ни о чем не беспокоился. Он поздравил гостей с избавлением, помянул добрым словом начальника милиции. «Утро вечера мудренее», — добавил он, посоветовав перенести разговор о будущем на утро. Гости, словно сговорившись, ни словом не обмолвились о расстреле «иверцев», хотя тень этого страшного события коршуном витала над ними. Поэтому, когда Мирелашвили, забывшись, едва не проговорился, все, догадавшись, сразу замолчали и перестали есть. Хозяин, прикусив язык, поспешно заговорил о другом. В Тбилиси он жил в одном районе с Валико и напомнил ему о рыночной площади, «толкучке».

— Что там толкучка, нынче и фланирующие по бульвару не брезгают сплетнями, — ответила госпожа Шуня. Мирелашвили поинтересовался, не путешествовал ли с ними некто Буцхрикидзе.

— Варден? — оживились гости.

— Да. Именно он сообщил нам о вас.

— Не было ли с ним врача? — спросила госпожа Шуня.

— Нет, он один пришел в станционный буфет и его направили к нам.

— А сам он куда исчез?

— Собирался возвратиться в Петроград, говорил, что там у него много знакомых и друзей среди большевиков и они ему помогут устроиться. Ехать в Грузию в такое беспокойное время ему не хотелось.

— Михаил ему доху одолжил, а он поминай как звали, — вставила хозяйка.

Михаил покосился на жену и произнес с шутливым упреком:

— Цыган в Рождество шубу продает, а уж весна...



— и добавил по-грузински: — Что поделаешь, <sup>ДОЛГ И</sup> путь человеку предстоял.

— Куда же он дел врача, паршивец этакий? — не успокаивалась госпожа Шуния. Ей как-то стало все безразлично, она даже не обрадовалась освобождению. Видно, перенапряжение последних дней вымотало ее окончательно, а может, разочаровало — она и сама не могла понять. Время от времени она бросала осторожные взгляды на Нино и Валико. Она никогда не видела Нино такой счастливой, жизнерадостной, веселой и красивой. Чувство одиночества невыразимой печалью сжало ей сердце, она выглядела сломленной и постаревшей. Михаил Мирелашвили выказывал большое уважение госпоже Шунии, его самолюбию льстило, что у него гостит княгиня, он усадил рядом с ней свою дочь и каждым словом, подчеркнутым вниманием подавал всей своей семье пример вежливого обхождения с особо почетной гостьей. Тамара, чтобы сделать приятное отцу, — а может, ей в самом деле очень нравилась пожилая дама, старалась всячески угодить ей; подавала гостье кушанья, меняла тарелки, предлагала особо лакомые куски, наливала вино. Даже, отвечая на ласковые вопросы госпожи Шунии, она вставала. По окончании ужина госпожа Шуния тотчас встала из-за стола, поблагодарила хозяйку, вынула из шляпы булавку, украшенную рубинами и жемчугом, и приколола девочке к воротнику платья со словами:


— Возьми на память, это красивая вещь.

— Ни в коем случае! — почему-то вскинулась хозяйка. Девочка покраснела, не зная, как поступить, и посмотрела на отца, словно спрашивая совета. Михаилу было неприятно, что жена так грубо отреагировала на этот благородный жест, но, не желая подчеркивать допущенную ею бестактность, тоже попытался отказаться:

— Помилуйте, графиня, она еще ребенок, зачем ей такой дорогой подарок!

Захмелевший непрошенный тамада в черкеске поддержал хозяев:

— Я пришлю ей из Грузии платье, расшитое гагатом и жемчугом, и станет она в нем первой красавицей.



— Как бы не так, не успеете выйти, а уж забудете и Тамрико, и Армавир, — резко оборвала его госпожа Шуния, потом вложила в руку девочке булавку и посмотрела на хозяйку: — Бросьте, пожалуйста, об этом не стоит даже говорить! — извинилась и вышла из комнаты.

За весь вечер Ираклий только раз подал голос — когда заинтересовался судьбой Буцхрикидзе. Он чувствовал себя неловко, ему и хотелось в той или иной форме извиниться перед Арадэли, и в то же время казалось это унижительным. В душе его накопилась горечь, пуская корни, как сорняк. Вот если бы случилось что-нибудь такое, что могло бы послужить оправданием, но он хорошо понимал: само собой оправдание не наступит. Госпожа Шуния вышла, и он словно лишился опоры, испугался, как ребенок, оставшийся один в темной комнате, и тотчас последовал за матерью.

Дом не затихал до первых петухов. Тамада и хозяин соревновались, пытаясь перепить друг друга, пока хозяйка не увела силой не вязавшего лыка супруга. Тамада, держась, как капитан покинутого корабля, собирался выпить последний тост, уже полчасика просил занятую уборкой стола хозяйку уделить ему минуту внимания и, мешая русские и грузинские слова, произносил плоские бессмысленные речи о традициях грузинской семьи, стараясь произвести на Тамару впечатление беспечного весельчака, но при этом человека вежливого. Девочка добросовестно выслушивала и принимала всерьез каждое его слово.

Нино и Валико, на первый взгляд, ожидали, пока окончательно выяснится, где кому спать. Дело в том, что хозяйка поначалу приняла их за супругов и отвела им общую комнату, но, разобравшись, стала готовить постель для Ираклия. На самом деле Валико и Нино совсем не хотелось спать, но приходилось расставаться; и это так их огорчало, как будто предстояла разлука на несколько лет, а не на несколько часов.

— Если ты согласна, с завтрашнего дня никогда не будем разлучаться, будем всегда вместе, — взволнованно прошептал Валико.

— Конечно!

— Прямо отсюда уедем за границу!

— Конечно! — повторила Нино, как припев.

Чтобы не беспокоить и без того раздраженного Ираклия, Валико лежал не двигаясь, глядя на синий квадрат окна, и дивился, что его совсем не пугает мысль вот так скоропалительно, без попытки, не заручившись ничьим согласием, в такое время, с такой женщиной ехать за границу. Он даже досадовал на себя за свое беззаботное настроение, словно его это вовсе не касалось. Почему он думал, что все образуется само собой, без его участия? Вскоре окно стало прозрачным и показалось небо, Валико осторожно поднялся, медленно оделся и тихонько вышел в гостиную. Не успел он привести себя в порядок, слышался скрип и шорох и в других комнатах. Нино встала бледная, еще более возбужденная из-за бессонницы.

Валико, не дожидаясь, пока весь дом проснется и их позовут завтракать, отвел Нино в сторону:

— Едем?

— Куда? — почему-то испугалась Нино.

Валико улыбнулся.

— Я должен узнать на станции, каково положение, куда нам можно ехать. Мы ведь отправляемся сегодня же, не правда ли?

— Конечно, — Нино немного успокоилась.

— Хочешь, пойдем пешком?


— Конечно!

Валико нежно сжал ей руку на прощание и направился к двери.

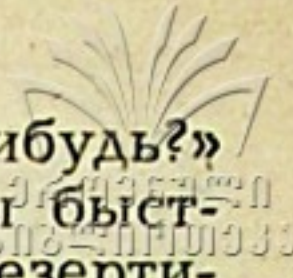
— Подожди, не уходи, — вырвалось у Нино. Она схватила его за локоть. — Я тоже пойду с тобой.

— Нет, — осторожно высвобождался Валико. — Ты подготовься, постарайся склонить маму к согласию, облегчить ей... — он не мог найти подходящего слова и, передумав, добавил: — Впрочем, до моего возвращения ничего ей не говори, чтоб Ираклий не поднял шум. Я скоро вернусь.

Два солдата, один рябой, другой высокий, с тяжелым взглядом, прятались в одном из пустующих деревянных домиков возле станции. Завладев во время обыска корниловцев набитым драгоценностями



«поросенком» (так рябой ласково назвал внушительных размеров мешочек), оба незаметно смешались с толпой, собравшейся смотреть представление, и, улучив момент, крадучись, словно опасаясь получить пулю в спину, спрятались в первом же строении. Третий день они дожидались поезда, третий день ничего не ели. Наружу они носа не высывали, боясь наткнуться на солдат. Вчерашний день нарушил все их планы, по платформе шастали солдаты, то ли готовясь митинговать, то ли разыскивая дезертиров. Наверно, тот корниловец устроил скандал, требуя назад своего «поросенка». Если теперь их поймают, то накажут не только за дезертирство, но и за мародерство. Не иначе как поэтому вчера на платформе собралось столько народу, звучали бесконечные песни. Слава Богу, пронесло. Больше оставаться здесь и дожидаться поезда было нельзя. «Поросенок», попавший им в руки, — золотые монеты, слитки, несколько драгоценных камней — оставался пока неподделанным. Рябой был родом из средней России, а Прокофий — с Северного Кавказа, с хутора Сторожевого, близ Ставрополя. Рябой несколько раз предлагал Прокофию поделить сокровище поровну, побросать ружья и каждому идти своей дорогой. Но Прокофий упрямылся, убеждая товарища пробираться вместе с ним на хутор и там, отдохнув, спокойно, не спеша поделить добычу, а то здесь нет даже весов, и один из них может остаться внакладе. Рябой соглашался даже на меньшую долю, но Прокофий стоял на своем, считая, что камни надо проверить, на глаз не разберешь, какой из них ценнее. «А потом как следует наедемся, напьемся, — уговаривал Прокофий товарища, — и отправишься с Богом восвояси. Знаешь, какие у нас соленья, какая квашеная капуста, жареная картошка, о свиных колбасках и говорить нечего, таких ты нигде не отведаешь. Жинка моя испечет пирог с грибами — пальчики оближешь. Ты неженатый, оставайся у нас, невесту тебе подыщем подходящую». При упоминании о вкусной еде у Рябого слюнки текли, он бы сейчас всех женщин на свете отдал за кусок черного хлеба, но, улыбаясь и нехотя соглашаясь, решил, что надо поскорее избавиться от привязавшегося дольщика, считая несправедливым отдавать ему половину такого богат-



ства: «За что? Что он мне сделал, помог чем-нибудь?» Наоборот, даже помешал, без Прокофия он бы быстрее убрался отсюда. А теперь вместо одного дезертира будут брести по дорогам двое. Один он, маленький, невзрачный, легко мог бы затеряться, а этот неуклюжий верзила так и будет бросаться всем в глаза! До сих пор он только ждал поезда, но теперь понял, что надо что-то сообразить, придумать какой-нибудь план, а то Прокофий прикончит его тут, вон он — так и глядит убийцей. В первую ночь оба не спали, не доверяя друг другу. Но постепенно уверенный в своих силах Прокофий стал больше доверять Рябому. В полночь Рябой отправился на поиски воды и, обнаружив колодец, вернулся за Прокофием. «Поросенка» они присыпали землей и оставили в домике. Рябой посоветовал взять немного денег и постараться раздобыть лошадей, но это было опасно, кто-нибудь, заподозрив, мог донести и обоим пришел бы конец. Но Рябой все же соблазнил Прокофия, пытаясь выяснить его намерения. Так прошел первый день, а весь второй день они дрожали от страха, забившись в угол. Малейший шорох, доносившаяся с платформы песня казались им надвигающимся смертным приговором. Ночью разыгралась непогода, бушевал ветер, шел сильный дождь. К счастью, крыша оказалась прочной, но с боков все же задувало и несло брызги. Стоял страшный шум, обрушивались потоки воды, казалось, наступил потоп. Вчера, правда, все стихло, но они решили еще один день ждать поезда. Сегодня же от голода они едва держались на ногах, чуть не падая от головокружения. Дальнейшее промедление было равносильно смерти. Следовало также опасаться нежелательного вторжения, хотя их убежище было расположено удачно: подходы к домику и почти вся платформа были видны как на ладони. У них было две винтовки и два патрона, но до каких пор торчат тут? Прокофий предложил достать золотой червонец и попытаться купить какую-нибудь еду, но, подумав, оба отказались от этой рискованной затеи. Рябому следовало сегодня же найти выход, еще несколько дней можно было терпеть голод и холод, но не бессоницу. С сумерек до рассвета он поневоле бодрствовал, потому что рядом громко храпел Прокофий. Ког-



да он слишком расходился, Рябой расталкивал его и будил. Прокофий ненадолго умолкал, но вскоре на-верстывал упущенное, храпя с удвоенной силой, так что Рябой замирал от страха, как бы их не услышали в казармах. Солнце играло в прятки, то робко заглядывая в щели, то врывалось в домик, ослепляя его обитателей, а то исчезало, словно вдруг наступало ненастье. Прокофий с самого утра кряхтел и вздыхал.

— Прокофий, а, Прокофий!

— Чего?

— Сходил бы ты на станцию в буфет к басурманам.

— Поезда не ходят, что в буфете делать?

— Они сейчас торгуют с железнодорожными служащими и окрестными жителями. Сидоров у них обменял золотой перстень, забыл?

Прокофий смолчал, со вчерашнего дня он чего-то дулся, почти не разговаривал с Рябым. Допустим, ему надоела бесконечная болтовня, но почему он ничего не ответил на деловое предложение? Не получив ответа, Рябой продолжал вкрадчивым тоном:

— Я бы сам пошел, но ты выглядишь солиднее. Меня еще чего доброго примут за воришку и поймают. Если тебе откажут, не упрашивай, тотчас возвращайся, что-нибудь другое придумаем. Если и сегодня поезда не дождемся, ночью потопаем в твою деревню — будь что будет. В общем, как скажешь, так и сделаем, хоть свадьбу сыграем, — попытался он пошутить.

Прокофий еще некоторое время лежал молча, потом встал, разгреб землю, достал мешочек и энергично вытряхнул его содержимое.

— Иметь столько денег и подыхать с голоду, как в глухом лесу, — он выругался, вынул один золотой, сунул его в карман, затянул шнурок на мешочке, тяжело исподлобья посмотрел на Рябого, снова закопал «поросенка», взял ружье и еще раз взглянул на перепуганного товарища: — Не балуй! — пригрозил он и выругался.

«Только бы на этот раз спастись, — убью», — пронеслось в голове у Рябого.

— Чего дурить? Хочешь, я сам пойду, — добродушно ответил он.



Прокофий положил ружье на землю, еще раз ругнулся и медленно вышел из избушки.

Рябой через щель следил за бредущим пьяной походкой Прокофием. Кругом не было ни души. «Лучше сейчас выстрелить и разом избавиться», — подумал он и трясущимися руками потянулся к ружью. Щель годилась для обзора, но не для стрельбы: ствол винтовки пролезал, а прицелиться не удавалось, прорезь была не видна. «Когда вернется, тогда... пусть еду принесет». Тут он вспомнил про «поросенка», быстренько выкопал его из земли, спустил галифе и привязал мешочек к животу. Лоб его покрылся испариной, в ушах звенело, перед глазамиплыли темные круги... Все же он собрался с силами, отыскал самую крупную щель, обращенную в сторону станции, посмотрел, не возвращается ли Прокофий. Если не удастся сразить с первого выстрела, в запасе оставался еще один. Но и эта щель оказалась слишком узкой. Он попытался выломать доску прикладом, но только расшатал ее. Наконец ему удалось отвернуть доску в сторону и расширить обзор. Он подтащил ружье Прокофия и лег на живот. «Поросенок» нежно прижимался к его телу. Рябой окинул взглядом платформу, взял ружье на изготовку и стал дожидаться Прокофия.

Утренняя свежесть несколько приободрила Валико, но все же на станцию он шел нехотя. Недаром предупредил их начальник милиции, что не следует рассчитывать на скорое прибытие поезда. Все же лучше самому убедиться во всем, а не полагаться на чужие советы. Никто за него не сделает его дело. Потом надо будет переговорить с Нино и вместе решить, как поступить. Он шагал быстро, сам не понимая, куда спешит в такую рань, ведь на станции сейчас не встретишь никого, кроме дежурного. И все же он не замедлил шаг. Чем раньше удастся ознакомиться с положением, тем лучше. Им надо как можно скорее покинуть эти места. Город еще не проснулся, лишь кое-где ворота со скрипом приоткрывались, женщина в платке робко выглянула на улицу и, убедившись, что кругом все спокойно, быстренько перебежала через дорогу к соседке — разжиться яйцами и молоком или просто посудачить. Невдалеке



показался старик с коромыслом. В мирное время эту работу выполняли исключительно женщины. «Ведро, полное воды — хорошая примета», — подумал Валико. Увидев его, старик остановился, предупредительно убрал с одной стороны коромысло, чтобы резво идущий путник не задел его плечом, и, поравнявшись, вежливо пожелал ему доброго утра. Валико ответил на приветствие, с любопытством разглядывая старика. Заметив благожелательность во взгляде Валико, старик смиренно попросил табачку. Чувствовалось, что он не прочь покалякать со случайным встречным. Валико отказал в просьбе и пошел дальше, потом вспомнил о данном Тюхиным табаке, вернулся и вывернул содержимое кармана в подставленную ладонь старика. Взгляд у старика был колючий, улыбался он как-то неприятно и вместо благодарности насмешливо, как показалось Валико, кивнул головой. Неожиданно снова выглянуло солнце, и мысли Валико прояснились: «Какая глупость, что я тащусь на станцию, все равно не ускорю прибытие поезда. Так в чем же дело? Утром к Мирелашвили придут члены комитета, а нет — так соседи укажут путь-дорогу... Ну да не возвращаться же назад». До станции было уже совсем близко, когда из-за поворота выехали два всадника и, поравнявшись, подозрительно покосились на Валико, о чем-то переговорили друг с другом, но, к счастью, они спешили и им было не до него. На станции он не встретил ни души, даже дежурного не было на месте. Возле буфета возилась уборщица, собираясь мыть пол. С противоположной стороны заглянул солдат, оглянулся и, увидев Валико, закрыл дверь. Валико без причины разволновался, ему вдруг показалось, что судьба его и Нино в руках этого проходимца, и устремился за ним, словно ожидал его всю жизнь. Платформа и городская площадь были безлюдны. Валико рванулся к железнодорожному полотну и увидел солдата, шагающего к станционным постройкам. Приглядевшись к бредущему неверным шагом, неестественно сутулящемуся дезертиру, Валико понял, что смешно ждать от него какого-нибудь дельного совета, и даже не окликнул солдата, хотя находился в нескольких шагах от него.

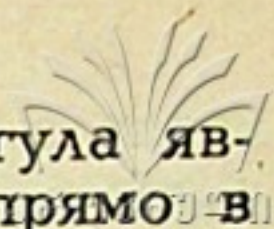
Дом Мирелашвили пришел в движение: прибыло несколько ехавших вместе из Петрограда грузин, хозяева, приютившие их, члены местного национального комитета, родственница жены Мирелашвили, тесть, сосед. Каждый давал какие-нибудь советы грузинам, а уходящий обещал выяснить что-то. Госпожа Шуния объявила, что согласится со всем, что решат господин Михаил и Ираклий, и тогда Мирелашвили взял на себя составление плана. Нино с утра не выходила, отказалась от завтрака, сославшись на болезнь, и осталась в комнате, отведенной ей и госпоже Шунии. У нее действительно ужасно болела голова и нервы были напряжены до предела. Стоило скрипнуть двери, как она испуганно вскакивала и лихорадочно прислушивалась: вдруг это возвратился Валико, а она из окна не заметила его, или, может, он вернулся другой дорогой. Потом она опять садилась к окну, но от волнения ничего не видела, боясь, что пока она прислушивалась у двери, Валико прошел у окна. Через некоторое время эта искорка надежды таяла, и Нино сидела, не отрывая взгляда от разрушенного домика, из-за которого должен был показаться путник. Сегодня с утра Нино затеяла неуместную на первый взгляд возню, разыскивая ненужные ей вещи, необычное поведение преследовало определенную цель: она хотела привлечь внимание матери и сразу объявить ей о своем решении, а не начинать речь издалека. Но погруженная в свои думы госпожа Шуния как будто ничего не замечала. Время не ждало, Валико должен был вот-вот вернуться, поэтому Нино сдержанно, не обнаруживая своих чувств, но сурово и непреклонно сказала: — Мама, я не еду домой.

Хотя госпожа Шуния, занятая своими мыслями, как будто не обратила внимания на слова дочери, Нино догадалась, что мать ждала этого. Правда, видя, что госпожа Шуния продолжает оставаться безучастной ко всему, Нино усомнилась, поняла ли мать ее правильно, поэтому уточнила: — Не возвращаюсь в Грузию, — но и на этот раз госпожа Шуния ничего не ответила, и Нино продолжала: — Ираклий чувствует себя лучше, Бог даст, благополучно приедете домой. Кети я пока что поручаю тебе. Иначе я не могу поступить, мама. Мы немедленно едем за границу. Как

только вернется Валико, мы отправляемся первым же поездом, а если не дождемся поезда, уйдем пешком. Сей же час!

Госпожа Шуния еще некоторое время сидела не двигаясь и не произнося ни звука. Нино показалось, что она прислушивается к разговору Мирелашвили с Ираклием, хотя невозможно было разобрать, о чем они беседуют. И когда Нино стала складывать отдельно свой багаж, госпожа Шуния встала, хлопнула в ладоши, воскликнула: «Молодец!» — и молча, деловито помогла дочери уложить вещи. До станции, по словам Тамары, было две версты. Вот кто-то идет по улице по направлению к разрушенному домику, возможно, он держит путь на станцию. Интересно, сколько ему понадобится времени? Нино считает минуты: «раз, две, три, четыре, пять — пять минут!» Оттуда до станции расстояние раз в десять больше. Приблизительно час-полтора туда, столько же обратно. Может, он ждет кого-нибудь? Надо ведь все разузнать и уточнить. И потом, откуда Тамаре знать, две версты до станции или целых три. Все же Валико чересчур опаздывал, наверно, встретил знакомого... Нино разрыдалась. Внизу ветер хлопнул дверью, кто-то вошел в комнату. Нино перестала плакать, подняла голову, прислушалась с замиранием сердца. Вдруг, словно грома́ная скала мгновенно обрушилась и стремительно улекла ее в бездну. Нино выскочила на улицу и побежала, не разбирая дороги. В ушах ее, как свист крыльев хищной птицы, звучали чьи-то слова: «На станции убили Арадэли». Она мчалась на станцию, но не хотела добежать до нее, знала, что это правда... Куда угодно, только не туда. Хоть бы дорога никогда не кончалась, вот так все бежать, бежать, пока все вокруг не почернеет и сама она не растворится во мраке, как тень.

Окружающее навалилось, нахлынуло бурлящим, переливающимся гулким потоком. Расплывающееся сознание не могло овладеть происходящим, чернеющие, отливающие зеркальным блеском линии рельсов мчались параллельно, потом вдруг пересекались, дрожали и бились, как косые линии дождя. Снизу подымалась приятная прохлада, щеко́ча и покалывая, как



иголками. Внезапно на фоне приглушенного гула явно слышались слова: «Пуля попала прямо в лоб». «Кого-то убили», — подумал Валико. Перед ним повисло в воздухе перевернутое, облетевшее дерево с подрагивающими корнями, жгучие, сухие слезы обожгли глаза. Какие-то голоса звучали над самым ухом, о чем-то спорили, но он не мог понять о чем: «Кажется, обо мне говорят». Потом все оборвалось, исчезло, он ощутил невесомость, в угасающем сознании всплыла последняя мысль: «Теперь и Нино отдохнет».

Похоронить умершего с почетом не было никакой возможности, и армавирские грузины в тот же вечер предали земле Валико Арадэли. Зураб Авалишвили так рассказывает об отъезде из Армавира бывших пассажиров санитарного поезда: «Подавленные, молча сидели мы на квартире грузинского комитета, когда прибежал один из членов комитета и сообщил, что нас разыскивают, разъяренные солдаты собираются расправиться с освобожденными вчера «корниловцами». Опасность нависла и над комитетом, на них тоже пало подозрение. Необходимо немедленно покинуть Армавир. Мы тотчас приступили к осуществлению следующего «плана». Возле теплушки охранять наш багаж будут милиционеры. Мы же, чтобы не привлекать внимания, когда стемнеет, по одному, по два человека двинемся на станцию, к полуночи из Тихорецка придет поезд и, после короткой остановки, поедет дальше на станцию Минеральные Воды. Это последний поезд: так как с завтрашнего дня из-за отсутствия топлива движение будет прервано. К этому-то поезду и прицепят в последний момент нашу теплушку, наглухо закрытую, как товарный вагон, и мы сумеем вырваться из Армавира. С наступлением темноты мы разными дорогами добрались до станции, влезли в вагон и стали ждать. «На всякий случай» с нами в вагон сел надежный милиционер с ружьем, второй милиционер нес охрану снаружи. Нас куда-то перегнали, потом все смолкло. Мы сидели без света, переговаривались вполголоса. Милиционер равнодушно рассказывал о происшедшем на его глазах расстреле 39 человек. «Солдат не остановишь, — рассказывал он, — вероятно, вас тоже ищут. Конечно, придут встречать поезд, но вас, я думаю, не найдут. Капитан не

хотел рыть себе могилу, и ему прикладом перебили руку». Помолчав, наш страж стал рассказывать, как «на прошлой неделе на сестре милосердия обнаружили пулеметную ленту. Стоявший рядом артиллерист рубанул ее шашкой наперекосьяк, а она продолжает идти, тогда другой солдат ударил ее по руке», и все в таком духе. Обо всем этом говорил, как о чем-то обычном, да ведь для него в самом деле в этом не было ничего необычного. Кто-то зарыдал, но его тотчас заставили замолчать: в товарном вагоне должна быть полная тишина. Долгое молчание. Потом неожиданный продолжительный свисток, повторившийся еще раз, шум приближающегося поезда, обычный станционный гул, вскоре стихший. И снова какой-то переполох, крики на станции. «Наверно, вас ищут», — прошептал милиционер.

Теплушку дернуло, куда-то покатило, потом ее к чему-то прицепили. Мы узнали голос начальника милиции, разговаривавшего с милиционером. Наш страж открыл дверь и бесшумно растворился в темноте. Снова раздался свисток, и поезд тронулся, увозя нас из Армавира, где тела наших замученных соотечественников были брошены в ими же выкопанные могилы».

1980 г.

Перевод Игоря КАЛАШЬЯНА и  
Юрия ЧЕЙШВИЛИ

# ЖИЗНЬ, САД И РАЙНЕР

*(Из записок Дапертутто)*

Я раздражаю окружающих своими правилами жизни. Да я и не стараюсь особенно угождать им своим бытием, мне больше по душе роль наблюдателя, и только я знаю, сколько мук, телесных и душевных, скрыто в этом отрешенном созерцании.

Я не драматизирую события, так как пребываю в абсолютно другом пространстве (не скажу, что в блаженном), пространстве одинокого самобичевания...

Со временем многое воспринимаешь трагичней, но сейчас, думая о себе, не могу припомнить момента, когда я окончательно вышел за рамки принятого, освободился от кандалов условностей. Печальней всего то, что я, как и степной мой собрат, остро ощущаю порой, как прикован, намертво прибит гвоздями к внешнему, к быту, и это несоответствие рождает поток мучительных, временами безысходных мыслей. Самые неприятные периоды в моей жизни наступают тогда, когда тело мое просто пребывает в определенной плоскости с другими людьми и не подает признаков жизни, как у «них» это принято и как «они» это называют, а душа горит вечным пламенем...

Лето — самое плодотворное время года для меня, плодотворное в смысле созерцания и возбужденных поисков. Словно я меняю ось, вокруг которой вращаюсь все остальное время. Летом, перемещаясь в дру-



гое географическое пространство, я заново начинаю изучать азбуку, открываю мир, заново учусь ходить, говорить, сбрасываю городскую шкуру, становлюсь естественнее...

Почему я боюсь ночи? И тут, глядя в ночь, я ощущаю физический страх перед равнодушием и цинизмом ночи, которая беснуется, как одержимая похотью кошка. Особенно мне страшно, когда я захожу в свою комнату и поворачиваюсь к ночи спиной, так и жду удара в спину, и ноги становятся ватными, и секунды кажутся вечностью... Заперев за собой дверь, я перевожу дыхание, оглушенный стуком собственного сердца. Слишком много знает ночь и слишком она опасна.

Позавчера, когда я приехал поздно ночью, мать сказала, что умер наш кролик. Я неожиданно для себя заплакал, слезы лились, а я улыбался, не понимая, что происходит. Это длилось довольно долго. Это был плач по мне самому и близким мне людям, которых уже нет... И плач по тому дню, когда я сам умру, лежа на боку, как наш кролик.

Бродя по Одессе в состоянии эйфории и убеждая себя, что все происходящее — явь, что ветер ласкает мне лицо и тело, и значит я среди живых, я оказался неожиданно перед старыми зданиями дивной красоты. И мои уставшие глаза прочитали следующее: «Дворец торжественных событий» (словно «Магический театр», пеструю вывеску которого обнаружил однажды мой друг Гарри во время бесконечных скитаний по свету и учуял знамение в этих словах). Ну вот, подумал я, почему бы мне не войти в этот дворец и торжественно не возвестить о самом торжественном событии в моей жизни.

— Что у вас за событие? Свадьба? Именины? — спросили меня.

— Более значительное, смерть! Чем не событие?!

Я расхохотался так громко, что у двух бритоголовых парней, торжественно входивших во дворец, дрогнули сердца.

— Я хочу отметить с друзьями, — продолжал я, — нет, нет, с первыми встречными, нет, лучше с вокзальными проститутками... да-да, так романтичнее, с вокзальными блядьми обоего пола день своей смерти.



Мертвец угощает адским шампанским... Прошу пус-  
тить это заявление по всем каналам информации.

— О, как это оригинально! Вы, наверное, так гордитесь собой? — спросила крашеная блондинка.

— Да! Но я очень скромный человек, до слез скромный, я хожу неузнанным, и это меня удручает — я не признан...

— Не плачьте, я сама займусь вашим заказом и сделаю все... ну сколько же у вас слез... прошу вас, не надо... я сделаю все, чтобы вы запомнили этот день как самый выдающийся в вашей жизни.

— Смерти...

— О, да, в смерти. Как вы милы! И как эксцентричны! Вы — чудо!

— Спасибо.

— Заплатите в кассу три рубля за заказ и напишите текст для пригласительных.

— Ну, я пойду...

— До завтра. Можно, я поцелую вас в щечку?

— Меня?

— Да, я бы очень хотела... вот так, а сейчас до завтра. Не возражаете, если я оденусь в белое?

— Да-да, белый ваш цвет.

— Пока.

Дверь грохнула.

На этот раз мой хохот вызвал недоумение моих попутчиков по троллейбусу. Разумеется, я тут же пригласил их на торжество и вышел на первой же остановке.

И всю дорогу до гостиницы улыбался.

А вот вчера мы с матерью долго не могли найти калитку, чтобы выйти в кукурузное поле. Мы заблудились и потом с помощью деревенского парнишки нашли ее (калитку) и долго собирали кукурузу. Пошел мягкий дождь, и в высокой траве мы долго добирались до нашего забора, перелезли через него, я сорвал тяжелый лист папоротника и накрыл им голову. Закинутый за спину серый мешок, до половины полный кукурузы, оттягивал мне плечо, и я медленно поднимался по склону, еле шагая в высокой траве. Мать, закутавшись в шаль, шла позади. Свинцовое небо сливалось с зеленью земли и превращало наше восхождение в великое деяние. Папоротник в моей левой руке

щекотал мне лицо. Наш дом постепенно вырастал из-за склона. Он звал нас.

Почти одолев склон, я остановился у яблонь. От резкого движения капли осеннего дождя упали с папоротника мне на лицо. Я обернулся, точно на зов, и, увидев израненный моими следами зеленый луг, подумал: я прошел этот путь... Это был мой путь.

Райнер сказал: «Как стал далек мой путь...» Совсем как в фильме Андрея, только вместо «Ah, mein sinn» в моих ушах звучало «O, Welsche lust», но это так, между прочим, просто вспомнилось, как однажды виденное...

И я вернулся обратно к нижнему забору, стал под акацией и долго смотрел, как мы с матерью поднимались вверх по густой траве, как, дойдя до яблонь, я с листом папоротника в левой руке обернулся и посмотрел на себя, где-то там внизу стоящего под акацией... О чем я думал, не знаю, отсюда было не понять. Но это было позже, когда мы уже в доме стряхивали с одежды тяжелые капли дождя. Я был мокрый от слез вечности...

Дапертутто думает: «Все песни спеты, все стихи сложены, все письма написаны задолго до того, как мы родились на свет. И первый из людей так же кончал, рыча и тяжело дыша в ухо растрепанной женщине, и потом пытался выразить испытанное чувство, царапая по камню, может быть, даже ногтями, может быть, он извивался от боли, и кровь сочилась из пальцев... И все же он излил на камень свое чувство — нарисовал.

И зная это, так хочется своего, простого, как левая рука, и прочного, как земля, упругого, как грудь любимой, счастья — своего, сегодняшнего, миллиард раз прочувствованного кем-то, но своего, ничем не заменимого».

Дапертутто снятся сны:

Море...

Соленые губы отражают мою кожу,  
ты обдаешь меня чистотой и наивностью,  
а кожа темна, как ночь.

Улыбка — луна.



УДК 82.01  
ББК 84.001.01

Ты отражаешь всего меня,  
я бегу от тебя...

Страх охватывает меня, как бы не осквернить  
твой порыв

моим желанием обнять и вместить тебя всю, с ног  
до головы, в себя.

Закат... камни... глоток соленой воды  
я бы отпил с твоих губ, обращенных ко мне.

Тоска пускается в пляс,  
я опять, убегая, зову тебя.

Касание твоих рук...

И глаза, навеки запомнившиеся мне.

Камни будут скучать по теплу наших тел,  
а мои глаза — по пробегу

по твоим детским ногам.

Жесты твои, скупые и понятные...

Верни мне чувство,

прикоснись ко мне.

Мои сны ждут тебя.

Блаженная жалость охватывает меня ко всем вещам, которых только коснулась человеческая рука или взгляд. Исходя из своего глухого одиночества, я думаю, все люди так же отчаянны в своих пристрастиях и стремлении отгородиться от мира и друг от друга даже тогда, когда кидаются друг другу в объятия. В это время вещи становятся вернейшими спутниками нашей жизни-существования. Они так преданны нам в своем молчании, так дышат нами, так полны нашим дыханием и постоянно ждут нас, что, видя вещи, принадлежащие другим, я испытываю трепет и страх — как бы не ранить их своим любопытным взглядом. Ведь сколько тайн, наших собственных, но неведомых нам, известно им, и они так горды сознанием своей значительности, так высокомерно наполнены нами, что невольно становятся похожими на нас. Так вот файлофакс Горана — его олицетворение и дышит в такт с ним. Дождь в Глотенсбери был очень похож на Керин, которая сияла от счастья, встречая нас. А дневник Нины улыбается и манит ее прелестными губами. Вещи прекрасны и таинственны, иногда в большей степени, чем люди, непонятно — мы их создаем или они создают нас.

Мне срочно нужно найти, вернее, обрести себя. Восстать из пепла. Мне необходимо это, как глоток воды, как солнце. Я на распутье, но не потерян, я обрел нечто, для выражения чего мне не хватает запаса слов (а может, его нет и вовсе). При всем этом я взрослею, что довольно мучительно, так как мне никогда не хотелось быть взрослым в полном смысле этого слова. Мне и сегодня до боли в теле не хочется сознавать акта моего «повзроslения».

Порой меня охватывает сомнение в моей миссии, функции на земле (мне уже не смешно от этих слов, как раньше, мне горько. Я даже чувствую запах и вкус слова «миссия»).

Я в поиске, я ушел в себя. Райнер все время призывал меня к этому, и вдруг я понял суть его простого совета. Я прошел (и еще прохожу) сквозь некое чистилище, освобождаясь от рудиментов, от лишнего, наносного, вторичного, маловажного. Замыкаю в себе круг. Мне уже не нужны атрибуты каких бы то ни было обществ или кругов. Я никому, кроме земли, по которой хожу, не принадлежу, в этом не может быть сомнения, каждый день напоминает мне об этом. И все наши пути ведут к ней. И еще я принадлежу Богу и моей Матери, ей, наверное, больше всех. Она вся во мне, и я весь в ней.

Каждый насущный день она твердит мне: вырази себя, пока не поздно, ведь каждый час, каждая минута может быть последней. Трудно поверить, но это так.

Что может быть нужно людям от меня? Ответ прост — **ничего!** Людям ни от кого ничего не нужно! Все дело в тебе, в том, что ты отдашь им. Отдашь — тогда и будет нужно. А так **никогда!**

Я думал однажды о Райнере, думал, чего ждали от него люди при его жизни. И пришел к мысли, что они, люди и людишки, ждали его смерти. Ведь только с его смертью они смогли бы создать миф о нем. **МИФ** — вот что нужно людям, вот что их возбуждает. Стоит тебе умереть, и ты поднимаешься в их глазах настолько, насколько хватает высоты их взглядам. Смерть делает тебя особенным — мудрым, таинственным, мужественным... И обнаруженные твои записки, тайные дневники, стихи или рисунки стано-

вятся поводом для слагания мифа о твоей **мученической** жизни героя, не признанного при жизни. И слагаются песни, пишутся сказки, рассказываются небывлицы о какой-то жизни, которую прожил кто-то, но не ты.

Боже, наверное, при жизни Райнера его труды и стихи вызывали в некоторых раздражение, люди и людишки считали их, верно, высокомерными, даже претенциозными. (Какое слово?! Их слово!) Им невыносимо было мириться с тем, что такой человек может жить где-то рядом и делить с ними землю, воздух, солнце и луну. Им от этого становилось не по себе. В душе они его унижали, смеялись над ним (мне так кажется), иные даже не здоровались с ним. И «стишки» его считали обычным явлением.

Я уверен, люди даже не предполагали, что он помогает им приблизиться к Богу и даже говорить с Ним.

И он нес свой крест. Он исполнил их желание, он умер, ушел, его не стало. Он унес тайны своей жизни, тайны нашей жизни, жизни наших предков и правнуков. И тогда вся Европа заплакала над его стихами. Тогда засиял миф о нем.

И женщины, которых он знал (и не знал) «мученически» понесли крест их принадлежности к мифическому Райнеру. Райнер засмеялся бы, прочитав эти строки. Они показались бы ему наивными. Нет! Он сам был — простодушное дитя среди взрослых. Он сказал бы мне несколько слов, а потом добавил бы: — Ты упрекаешь их?! (Но, видит Бог, я никого не упрекал, я просто сказал, что думаю). Ты упрекаешь их в том, что они создают миф. Но ведь и ты создаешь свою версию мифа обо мне?!

Может быть, он так и сказал бы мне, не знаю...

И мы оба рассмеялись бы. А потом я подумал бы про себя: да, Райнер, но я пишу и о себе, читая тебя, я растворяюсь в тебе, в мифическом, магическом тебе. И вообще (говоря твоими словами): «Кто из нас Ты?»



Гурам КАНКАВА

## ПОЭЗИЯ КРАСОК

**К**омпозиционную основу поэзии Бесика Харанаули составляют главным образом общие проблемы. Круг проблем в его стихах и поэмах совпадает, и лирические мотивы его стихов хорошо согласуются и раскрываются в темах его поэм. Часто поэмы Б. Харанаули даже стилистически не отличаются от раскрепощенной, открытой, свободной природы его стихов. По своей автобиографической конкретности, острой постановке вопросов, напряженности тона некоторые стихи, как младшие братья, похожи на его поэмы. Монологическая форма, культивирование повествовательной манеры характерны и для его стихов, и для его поэм. И там и тут автор неизменно ропщет, реже — обвиняет.

И все же поэмы Б. Харанаули («Кукла-калека», «Путевые наблюдения бродячей собаки», «Что написано на белой бумаге») характеризуются ораторским пафосом, большим ощущением тревожности бытия, большей остротой нравственных страданий, а также крайними формами иронии.

Поэма для него исключительно свободный жанр с явными признаками поэтического эссеизма, совершенно не ограниченный не только тематически, но и с точки зрения изобразительных средств. Такая структура поэмы интересна поэту в первую очередь не своей емкостью или многосторонностью, а ощущением внутренней свободы, которую дарит ему этот жанр. Здесь он неутомимый оратор, который одинаково проникновенно обращается к Богородице и сборщикам картофеля, к звездному небу и к своей собственной лени, к лику смерти и к бродячей собаке, которая является одной из масок его поэтического автопортрета.

Отшлифованная неустойчивость его верлибров, лишенное



крепости построение в равной мере свойственны как его стихам, так и поэмам и являются отражением светотеней его поэтического мироощущения. Несовершенство, нестабильность сущего он видит во всем — вне себя, вокруг себя, в целом мире и во внутренних, глубочайших духовных сферах человека. В этом смысле он создает некую негативную гармонию и последовательно проводит мысль о том, что при моделировании мира были допущены ошибки. Эти ошибки Природы тяжким бременем ложатся на бытие человека, его судьбу и, соответственно, — художественное воображение поэта.

Вечная тема смерти, можно сказать — идефикс поэта (рассказывая о себе в третьем лице, он говорит: «Смерть? Еще в детстве оглушила его мысль о смерти...»). Человек и смерть — один из основных мотивов поэзии Б. Харанаули, но выражение его в одном традиционном аспекте лишает этот мотив самобытной мощи и часто уподобляет банальному причитанию. Любая разрабатываемая тема (даже хорошо известная в литературе), любой отдельно взятый мотив должны иметь свое обновленное поэтическое выражение, по-новому осмысленное значение. Ведь известная (вечная) тема приобретает поэтические права только тогда, когда значение ее в определенной мере индивидуализировано.

Поэма «Кукла-калека» насыщена вариациями на тему смерти, но по своему художественному осмыслению она — эмпирического и бытового характера; решение вопроса о смерти в ней, как правило, низводится до бытового уровня.

Когда я умру,  
о, моя мама и моя жена,  
и опустеет моя кровать...

(подстрочный перевод)..

Для решения темы смерти в бытийном плане автору, вероятно, следовало бы дать, к примеру, более героическое осмысление этого явления (в этом случае героическая мораль достигается и путем беспристрастного видения этого явления).

Вспомним поиски метафизической мысли о смерти, которые встречаются у Андре Малро. Посмотрим на жизнь с позиции смерти: человек (в том числе и наш автор) не сознает, что смерть упорядочивает его бытие, разжигает интерес к жизни, активизирует его жизненный ритм и вносит динамич-



ность в творческие силы человеческой личности. Такова она — невидимая надзирательница над жизнью, привносящая глубину и подлинный трепет во все мысли о бытии человека. Без нее человек потерял бы чувство полноты жизни, убийственное ощущение бесконечного и застывшего однообразия владело бы им. Несмотря на это, наш автор мало интересуется ценностной ролью смерти в совершенствовании личности самого человека, не хочет увидеть метафизический ее смысл: смерть — метафизический надзиратель человека, наши культурные, религиозные и нравственные представления без нее просто невозможны. Создается впечатление, что автор пока не в состоянии осмыслить горькую, трагическую необходимость смерти, ее неизбежность.

Ощущение убожества превращено в поэме «Кукла-калека» в предмет анализа и питается подлинной нравственной силой. Чувство несовершенства человека и его творческих сил превращается в тему для серьезной и открытой дискуссии. Автор хорошо сознает, что мир, лишенный импульсов духовной жизни, своей бездуховностью, пустотой, душевной глухотой тревожно наступает на человека и парализует его волю. На этот духовный вакуум, который царит во всем мире, человек должен ответить каскадом творческих импульсов. Автор остро переживает недостаток разума, творческой силы, духовности не только вокруг себя, в своем окружении, в обществе вообще, но и в самом себе. Именно это и заставило его написать поэму. «Кукла-калека», как говорит само заглавие (кукла-калека — одна из иронических аллегорий автора, обличительная метафора, пародийная маска), символизирует творческое несовершенство автора и в этом смысле несет в себе явные признаки гипертрофии.

В «Кукле-калеке» самыми значительными являются нравственный критицизм, позиция добросовестнейшего обличителя, в роли которого выступает автор, его смелость, когда он говорит о том, что ранее умалчивалось, и определенное самобичевание... Критика автора начинается с самокритичности. Он сам является героем своей поэмы. Свою сознательную жизнь он рассматривает как жизнь грузина вообще. Человек — объект критики, для автора это железный закон. Поэтому прежде всего надо критиковать самого себя, беспристрастно показать себя как творческую личность и только потом делать обобщения. Его поэма подтверждает этот принцип: все ядовитые стрелы иронии, в первую очередь, направлены на главного героя.

Чем более я самокритичен, тем ближе я к истине — это кредо поэта.

Для него морально состояние, при котором человек ощущает нравственное неудовлетворение; он, как писатель, воспитанный на традициях христианства, заранее считает себя грешником; но вновь и вновь говорить о своем духовном несовершенстве его принуждают не только культурные предпосылки, но и реальные обстоятельства. Его неудовлетворенность, критицизм вызваны чрезвычайными обстоятельствами реальной действительности. «Ну что есть жизнь сорокалетнего мужчины...».

Как уже было сказано, «Кукла-калека» — это каскад проблем, при этом каждая более или менее значительная проблема не вытекает из предшествующей, не возникает в ее лоне. Так что логически она может быть и не связана с ней. Причинные связи ослаблены. Определенную роль в поэме играет произвольная циркуляция свободных ассоциаций (которые ни в коем случае не надо принимать за лирические отступления), стремление отдельной мысли к автономии, самостоятельности и необычная органичность поэтической мысли, что условно выполняет роль техники поэтического письма.

Мне кажется, в подобной формально-мыслительной структуре можно искать принцип поэтического эссеизма, т. е. искать в поэмах Б. Харанаули следы эссеистского мышления. Эссе вообще обладает собственной логикой, этот жанр определяет единственный путь развития мысли. Будто авторами-эссеистами предусмотрены или прочувствованы своего рода отклонения от причинных связей в мире или в наших этических нормах.

Несвязанность мыслей, взглядов, их самобытность, самостоятельность в системе ослабления причинности между ними, как нам кажется, и есть самый наглядный признак современного эссе, его существенная сторона. В «Кукле-калке» высказывается немало фундаментальных взглядов, между которыми почти нет никаких художественно-каузальных связей, и тем не менее поэма представляет собой как бы одну цельную эпического характера фреску.

В качестве персонажей в поэме использованы скорее идеи, мыслительные каркасы. Персонифицированные взгляды, мысли, представления, казалось бы, — герои поэмы. Грузинская поэма, как мы знаем, имеет подобную традицию. Вспомним хотя бы поэму Ильи Чавчавадзе «Видение». Илья Чавчавадзе первым в нашей литературе создал поэму без действующими

щих лиц, воплотив в ней систему своих идей и сделав из них полноправных персонажей.

Таким же образом персонифицирована тема отчуждения, одна из самых острейших в поэме. Главный герой произведения ничего не делает для того, чтобы убедить читателей в своей собственной отчужденности. Действие здесь исключено, исключено и тогда, когда поэтическое повествование ретроспективно. Главный герой красноречиво описывает свое отчужденное состояние, отчужденную психику, что на мыслительном уровне представляется читателю как идея. В подобных местах редко можно встретить хотя бы одну метафору. Авторское оружие здесь — ясность и определенность мысли, исключительная искренность, проникновенность интонаций, но более всего — искренность и откровенность. Здесь биографическая и художественная правда соотносится с идейной правдой. «Смешно, смешно мое ожидание, когда все обговорено и связано, когда все разбиты на группы и группки, а я хожу между ними, как лиса в перелеске, кишачем охотниками, и никто меня к себе не подпустит. А я стою и повторяю свои наскоки, повторяю вновь упрямо и монотонно.

Смешно, в сто раз более смешно, когда под этим небом никто тебе не принадлежит, а ты все твердишь одно и то же и вновь пытаешься смириться, связаться, сговориться, сблизиться, в то же время остро чувствуя, что ничто, ничто не изменится для тебя в этом мире» (подстрочный перевод).

В этой идейной системе и любовь — запятанный, несовершенный персонаж. Ведь пафос поэмы — в отрицании. Сорокалетний человек (возраст нашего главного героя, который скорее является антигероем, несет в себе явные признаки дегероизации) утверждает именно путем отрицания, которое он, возможно, бессознательно считает огромной нравственной силой. Он чувствует себя ближе к истине, когда заявляет, что это чувство (т. е. любовь) он уступает простодушным и наивным людям. Дух отрицания — в силе, любовь для антигероя не может представлять какой-либо опоры. Она дала ему лишь отрицательные эмоции и вызывает тяжкие воспоминания.

Правда, в произведении идет речь о шестнадцатилетней девушке, односельчанке, о ее любви, но и она не становится реальным героем поэмы и упоминается скорее в идейных рефлексиях автора. И эта шестнадцатилетняя девушка предстает как идейное средство, материал для идейных построений автора.



Впрочем, мы уже знаем, что «Кукла-калека» это автопортрет, данный в авторских идеях.

Он сравнительно интересно рассуждает о времени, о его природе, и хотя эта тема выделена в отдельную (XVII) главу, можно было бы поговорить о ней более основательно: Автор естественно удовлетворяется традиционным аспектом времени, но в этих рамках дает живую его картину. И время, его осмысление, как и следовало ожидать, по существу отмечено отрицательными признаками.

Видите, столь далекое природе человеческой,  
совсем другого рода время ничего не оставит,  
если не заберет. И оно меж нас выросло?  
Давило вместе с нами в корыте виноград?  
Я люблю время, когда оно унесит, когда тень,  
как привратник, берет у тебя груз и несет, не ленясь.  
Ты провожаешь его взглядом... потом бежишь, чтобы  
заполнить легкость, которую обрели плечи.  
Или, может быть, старое от нового блекнет обычно,  
а мы называем это временем?

(подстрочный перевод).

Нельзя сказать, что неприятие и отрицание реальности в поэме тотально. Это было бы неверно. Но отрицание коснулось и самого дорогого для автора чувства — национальный мотив также представлен в негативном плане. Тут же следует отметить, что его недовольство и упреки более походят на жалобы обидчивого и вспыльчивого подростка. Действительно, в этом отрывке поэмы чувствуется определенная инфантильность, не свойственная, впрочем, автору, она здесь выступает в качестве поэтического средства, метода упрощенной подачи мысли (когда автор хочет подчеркнуть условность высказанного соображения).

На том свете я не хочу быть грузином, я хочу быть  
сыном какого-нибудь великого народа, чтобы одним  
словом дать понять всем, кто я...

(подстрочный перевод).

Подобным же образом выражена и другая тема, которую также условно можно назвать «родители — виновны». Эта тема, по всей видимости, связана с проблемой экзистенциального

стыда, который ярко выражен в творчестве поэта. И действительно, в поэме родители выглядят как виновные. Их вина — в муках главного персонажа, в его нравственных страданиях и самобичевании. Они обрекли его на трагическое бытие. Напевая младенцу колыбельную, мало задумывались о том, что уготовили ему. Пусть-ка сейчас попоют! Кому, по мнению поэта, человек может предъявлять претензии в этом мире? Реальнее всего — родителям.

Каждую ночь они приказывали мне — «спи!»  
И пели мне тогда колыбельную,  
когда и так я засыпал.  
Спойте мне сейчас, если сможете,  
в раскрытый рот даже люстра попадет.  
Бесстыжие!  
Как мне хотелось такое нечто  
при жизни сказать вам  
и увидеть ваше лицо,  
побледневшее от этих слов.

(подстрочный перевод).

Как заканчивается поэма? Довольно сильным художественным аккордом, замечательным иконографическим изображением, годным для одной из абстрактных масок к автопортрету автора. В этом иконографическом изображении проявляется главное настроение произведения, мыслительный исток: отрицание, неприятие жизни, отказ от нее... Подобный радикализм приводит нас к мысли, что поэма «Кукла-калека» все же продукт настроений молодости, когда все чувства удивительно остры, бескомпромиссны и являются результатом крайне жесткого нравственного максимализма.

Но отмечая это, мы не толкаем автора к компромиссам. Мы хотим лишь напомнить ему, что за чувствительной молодостью следует пора зрелости с ее не менее достойными нравственными ценностями — терпимостью, мягкостью, добротой, великодушием и снисхождением к человеку. То, что сверкает и ослепляет в острых чувствах молодости, в пору зрелости сменяется не менее ценной мудростью прощения.

Читая финальные строки поэмы, мы по достоинству оцениваем их художественность, но не можем согласиться с авторской интерпретацией действительности, поскольку видим в ней лишь одностороннюю мысль, неамбивалентное, недиалектическое (неантиномное!) отношение к реальной действительности.



сти, к бытию. Волнение страстей бытия не может вынести такую узость мысли, такое безысходное отчаяние, которое звучит в финале поэмы:

А в полночь сад сказал:  
«Тщетно все,  
Что здесь происходило при свете дня!»  
Не лучше ли было,  
Когда я сидел во чреве матери,  
Как древняя миниатюра  
В золотой раме.

(подстрочный перевод).

Как мы уже отмечали, поэма заканчивается этой образной арабеской, но не хотелось бы ставить точку на этой пессимистической ноте, хотелось бы внести хоть капельку «хэппи-энда» (или, может быть, драматизма?). Почему? Потому что исходим из жизнелюбивого духа самого автора и его нравственно упорядоченного сознания, исходим из одного из самых значительных фрагментов самой поэмы, обобщение и совмещение которого с концептуальной частью поэмы автор, к сожалению, не смог сделать. Любовь — в полном отрицании, добро — в полном и бесконечном насилии, религиозное благоговение к жизни, нравственный героизм — в недрах полного ничтожества — вот то, чего бы хотели мы; мы хотели бы, чтобы таков был строй мыслей поэмы, ее моральное лицо, ее этос.

Дело в том, что в X главе поэмы автор не скрывает своей гуманистической сущности и полностью выявляет себя как человек, чьи стремления, высшие влечения обращены ко всему миру, он любит этот мир, эту жизнь от самой мельчайшей ее детали до космической беспредельности. Повторяем, автор пока не в силах совместить противоположные, взаимно исключающие начала, мыслить диалектически (антиномно!), руководить своими творческими силами или подходить к своему творчеству с современными усложненными мерками.

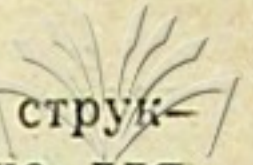
Как можно не помнить и не учитывать, что, скажем, если человек с одной стороны стремится к саморазрушению, подчиняется своим архаическим стремлениям, то с другой стороны, и это особенно важно, имеется и встречная мощная противоположная тенденция — человек борется за свое реальное бессмертие и творит во имя того, чтобы внести решительные коррективы в свою собственную личность.

Поэма «Выкапывание картофеля», по нашему мнению, глубже всего отражает поэтическую сущность Бесика Харанаули. Не потому, что эта поэма не содержит в себе ведущей обобщающей идеи, концептуальной части, а потому, что это произведение еще более органично, в нем сильны мотивы подсознания и не акцентирован тот каскад «официальных» проблем, с которыми мы встречаемся, например, в «Кукле-калеке». Поэма «Выкапывание картофеля» тем и похожа на своего автора, что он показывает здесь свою «малую родину», обращается к своим корням. Произведение от начала до конца излучает нравственную кротость, флюиды добра, чарующее всепрощение, которые покоряют читателя.

Чем необычно это произведение для нас? Несомненно, тем (и это вызвало растерянность не одного литератора), что в центре внимания здесь — невзрачный на вид и весьма прозаичный овощ, который затронул потаенные чувства не только главного персонажа, но и наши, читательские. Подобная художественная структура была неизвестна грузинской эпической поэзии. Структура, которая показывает, какие чувства может пробудить в лирическом персонаже (ведь произведение, это — лирическая поэма!) на первый взгляд незначительный, обесцененный повседневностью и порядком приевшийся продукт. А центром действия является его выкапывание из земли. Поэтому для героя поэмы существенное значение должна иметь сама символика выкапывания картофеля (психоаналитик расшифровал бы ее как бессознательную инцестивную (т. е. смешанную) метафору с ритуалом посадки и выкапывания картофеля). Я говорю это потому, что есть, вероятно, в этом художественном ощущении выкопанного картофеля что-то очень земное, перемешанное с землей, brutальное. Эти земные знаки подсознательно сопровождают его в определенной степени символический образ.

В произведении, названном автором поэмой, даются жизненные абрисы трех поколений. Показано то, что сближает их, но более то, что резко отличает друг от друга. Главное в произведении — переживания представителя второго поколения, главного персонажа: выкапывание картофеля для него — источник удивительной отрады, которой он не может найти точного названия, да он и не пытается сделать это. Это ощущение отрады и успокоения — доминирует в настрое поэмы.

В поэме «Выкапывание картофеля» заложена сила, таящаяся в вечно неизменных воспоминаниях, известных лишь главному герою, ушедшему когда-то из материнского дома и



возвратившемуся обратно. Воспоминание — главная структура, эмоциональный арсенал поэмы, надежное убежище для неосознанных стремлений. Подобные воспоминания — не ретроспекция, они скорее — видения, таящиеся только в этих воспоминаниях и нигде больше. Это видение того единственного «себя», собственного «я», которое он оплакивает в цикле стихов «Минуты мгновения»:

Мама, скажи  
 Этим полям, и склонам, и взгорьям,  
 Этим селам, и этим городам,  
 Этим людям — мужчинам и женщинам!  
 Пусть вернут тебе сына.  
 Отбери у всех  
 По частице моего существа,  
 Сложи к себе в подол,  
 Уйди отсюда подальше,  
 Сядь где-нибудь на зеленом лугу  
 Под тенистым деревом, у реки  
 И нанижи меня сызнова  
 С самого начала.

(Здесь и далее перевод Э. Ананиашвили).

В этом замечательном стихотворении поэт показывает обоснованность известного утверждения, что человек не идентичен своей собственной личности, модификации личности, казалось бы, бесконечны и вызывают в человеке нравственные страдания. Лирический герой призывает мать как свое прошлое, чтобы она, вызывая видения из «подола воспоминаний», восстановила тот единственный, неизменный, неповторимый лик, который носит только его имя.

Работа на земле вызывает в главном герое ностальгию по прошлому, это для него ближайший и естественный путь возвращения к самому себе. Выкапывание картофеля — это «выкапывание» из его памяти прошлого, как взгляд, брошенный в зеркало. В прошлом же — «золота» в изобилии — воспоминания, которыми человек живет несколько раз, и никогда не устает наслаждаться ими. Только весь вопрос в том, что он вспоминает. Лирический герой говорит следующее: «И с наслаждением купаемся в солнечных лучах, подставляем лицо веющему ветерку, выкапываем наше прошлое, достаем золото из-под земли, выставляем его на свет...»

Этот психологический пласт произведения особенно значи-



телен и важен. У главного героя две жизненные линии. Первая связана с его сельским домом, где он родился и вырос, и сливается с образом матери; вторая линия заканчивается в созданной им в городе семье и связана в произведении с его пятнадцатилетним сыном. Первая жизненная линия для него намного значительнее, на ней держится целый арсенал его чувств.

Поездка на уборку картофеля означает для главного персонажа уход в недра образных воспоминаний. Воспоминания раскрываются и уточняются в его воображении. Он видит в них свой неповторимый образ, свою сущность, свой субъективный экзистенциальный лик так, как нигде не увидел бы. Воспоминания детства отнюдь не являются фотографической копией. («...В эти минуты весь мир ввалился в нашу калитку»), а представляют собой красочные пристрастные ощущения, которые, несомненно, не изменяются, не подчиняются течению времени, а живут в герое как нечто вечное, надвременное, и стоит ему сесть под яблоней, как они начинают одолевать его.

В воспоминаниях герой быстро находит свое настоящее лицо (до того, казалось бы, утраченное), которое известно ему и узнать которое дано тоже только ему. Он с удовольствием погружается в воспоминания, живет в них до тех пор, пока его не отрезвляет юноша, находящийся на «второй жизненной линии»:

**И я думал о ветре,  
Что подхватил и унес меня,  
Как сорванный лист.  
В эти минуты весь мир шумной толпой  
Ввалился в нашу калитку,  
Протиснулся между наших заборов —  
И ему пришлось впору  
Наше здешнее платье.  
И я рассуждал, беседовал, спорил  
С пришельцами — долго, долго,  
До тех пор, пока за калиткой  
Не послышался громкий, веселый голос  
Моего сына.**

Одиночество начинается с осознания своей собственной индивидуальности. Как видно, в воспоминаниях человек видит образ своей индивидуальности, который непостижим для других.

1619353111  
8118-111911333

Есть в произведении и другая психологическая плоскость, о которой следует непременно упомянуть. Она лежит скорее на поверхности и придает поэме черты натуралистичности. Если раньше, в годы войны, урожай картофеля имел жизненно важное значение для семьи, и мать и сын, как «строгие стражи», охраняли свой двор, то ныне сбор картофеля уже не имеет столь рокового значения, и весь двор — это место радости и развлечений. Упомянутый пласт вносит во все произведение вполне понятное чувство нравственного облегчения.

Работа на земле, как тема плодородия, связана с художественной функцией образа матери, который также играет существенную роль в поэме Бесика Харанаули. Образ матери в поэме — эмоциональный центр. В грузинской критике, похоже, выработался единый взгляд: драматургия поэмы в том, что выкапывание картофеля становится поводом для счастливой встречи матери с сыном.

Это завидное влечение матери к сыну и наоборот в поэме не вызывает сомнения и, как было сказано, составляет как мыслительную, так и эмоциональную сердцевину произведения. Мать, работа на земле, воспоминания — неотъемлемые элементы поэмы.

Произведение фактически полностью написано в прошедшем времени, характерном для воспоминаний. Эта поэма-воспоминание (поэтому каждое отдельное воспоминание — это воспоминание в воспоминании). Воспоминания для главного героя — духовная терапия, духовный бальзам.

Мы говорили, что в поэме условно прослеживаются две жизненные линии, и образ матери находится на первой главной линии. Как отмечалось в нашей критике, метафорическая мысль поэмы — «Лист еще висит на стебле, но ветер уже в дороге» — подразумевает, что человек постоянно находится перед лицом смерти, этот мотив в произведении создает драматический фон. Но драматизм поэмы создает и то, что в ней существует еще и вторая жизненная линия, с которой мать иногда (или всегда?) не может примириться. Оказывается, каждую весну и осень матери приходится писать сыну и просить его приехать к ней. Лирический персонаж не скрывает, что картофель для его семьи потерял практическое значение. Поэтому категорические требования матери — это своего рода протест в адрес сына, а не заботливость хозяйки, протест против того, что он находится вне родительского дома. «Но бывают и критические моменты, когда, например, я получаю от матери письмо, в котором она непреклонным и авторитет-

ным тоном истинного педагога приказывает мне: «приезжай!» А я в это время завален делами или попросту предпочел бы уехать в другое место». Но он всегда приезжает, и радость встречи с матерью — главное в поэме, недаром главный герой вместе с матерью находится на главной жизненной линии поэмы.

В нашей литературной критике признано, что Бесик Харанаули — интонационный поэт. Действительно, конденсированный настрой поэмы, специфическая атмосфера «малой родины», интонационная эмфаза создают основную художественную силу. Примат интонации, возможно, определяется и тем, что всем трем персонажам, представляющим три поколения, трудно говорить, и они часто не заканчивают свою речь. В этих случаях как бы «видно», что интонация своей неповторимостью и всепроникаемостью опережает язык общения.

Что могло сравниться в том первобытии с интонацией, идущей из глубочайшей сущности человека, по своей непосредственности, полноте информации? Интонация, вероятно, самый ранний «голос» самовыражения человека, самый древний сигнал, первооснова будущего языка, первые звуки, которые благодаря своей силе невербального общения и в сегодняшних стихах занимают господствующее положение.

Поэма Бесика Харанаули «Что написано на белой бумаге?» по своему литературному построению, своеобразию проблем, художественной стилистике и пафосу ищущей личности очень близка к его ранней поэме «Кукла-калека». Часть проблем даже повторяется в новой поэме, но надо отметить, что автор здесь выглядит гораздо более зрелым и основательным. Похоже, жизненный опыт он, как и следовало ожидать, превратил в материал для мыслительного и нравственного постижения действительности. Характерно, что он ставит в своем произведении сложнейшие, глобальные проблемы бытия, художественно разрешая их на обычном бытовом уровне. Кто мы, почему мы здесь и куда идем? — вот вопросы, которые рождаются при чтении поэмы. В первых же строках произведения автор касается психологических аспектов упомянутых проблем. Разве человека, особенно интеллектуального труда, порой не охватывает чувство нереальности собственной личности? Хотя, по правде говоря, первые слова поэмы следует читать скорее в психологическом плане, чем в философском: «Человек и в собственном доме порой спрашивает себя: «Откуда я, почему я здесь?» И тут же вместо ответа вновь перед нами вопрос, но



уже поставленный, как нам кажется, в другой плоскости: «Неужели путь так долог?!»

Важнейшее назначение поэмы — поиск смысла существования человека. «Что написано на белой бумаге?» — то же, что и вопрос, в чем смысл жизни? Вопрос этот обращен к Богородице. Поскольку вопросы как бы касаются сверхчувственных трансцендентных сфер (Откуда мы? Куда идем?), то и форма их соответствующая, и поэт, преклонив колени, молит «древнюю Матерь» объяснить, открыть ему, кто он, откуда он идет и что ждет его в беспредельном будущем.

Подобная постановка вопроса подразумевает, что поэт самый существенный, самый главный в поэме, и читатель настраивается на ответ, который он получит если не свыше, то от автора наверняка. Вообще же, читая поэму, постепенно убеждаемся, что автор ставит всеобъемлющие, острейшие вопросы нашего бытия, на которые нет ответа, и, естественно, нет никакой надежды извлечь его из поэмы. И все же мы проникаемся подлинным человеческим сочувствием к автору, и искренняя его боль находит в нас большой отклик. «Что написано на белой бумаге?» — это вопросы без ответа, но нравственная драма, трагедия ищущего разума от этого не легче. Напротив, она становится источником трагизма: «И почему, в наказание за какую вину непроницаема для нашего взора тайна нашего естества?»

Хотя поэт все еще ставит изначальные вопросы бытия, он стоит на совершенно правильном пути постижения трагизма бытия, который в дальнейшем разветвится и поведет творца к более значимым вершинам.

Композиционная структура поэмы, как мы уже говорили, повторяет несложное построение «Куклы-калеки»: круг вопросов, чередующихся друг с другом, отражает авторскую концепцию человеческого бытия.

С целью создания эмоциональной ауры главный персонаж с самого начала обращается к своей тоске, вызванной прошлым. Страх перед сегодняшним днем, а также перед будущим выражается в суетных поисках прошлого. Главный герой хочет укрыться в прошлом, в желанных его картинах. Так рождаются воспоминания, возникает жанр воспоминаний.

Введение в поэму Богородицы придает поднятым в ней проблемам большую напряженность, ее образ обогащает произведение с эмоциональной точки зрения, ведь формально все вопросы, не имеющие ответа, обращены к ней.

В третьей главе поэмы дается картина мира, враждебно-

го человеку. Между человеком и окружающим его миром — те же враждебные отношения, что и были с самого начала — таково справедливое соображение автора. Но тут же следует отметить, что эта глава не производит особого впечатления и глубиной художественного решения, тем более, что она заканчивается банальной сентенцией, выявляющей патриархальный пессимизм: «И все стало ясно: реки стремятся к морю, а люди — к смерти». Может быть, стоило воздержаться от трюизмов!

Разумеется, в произведении затронута и тема смерти, без этого наш автор не обошелся бы. В данном случае она обработана очень эмоционально, несмотря на то, что основным средством изображения вновь избрана риторика. Природа смерти нарисована в совершенно традиционной манере, но с истинно человеческой теплотой и покорностью неизбежности. Смерть унижает и вызывает отвращение: «Как мы умираем, о, как мы умираем — как просто и отвратительно. Истлевший труп ежа в канаве возле дороги не так тошнотворен».

Тема матери, являющаяся неотъемлемой частью его поэзии, в этой поэме — не центральная. Несмотря на это, возникающая в различных частях поэмы, она остается невысказанной до конца, животрепещущей и не сравнимой ни с какой другой по своему трагическому звучанию. Главный герой предстает перед нами почти в позе царя Эдипа и просит, чтобы его ослепили: «Глядя перед собой, я с трепетом почувствовал, с какой нежностью легли мне на плечи руки, с какой осторожностью коснулась женская грудь моей усталой спины... И мне показалось, что я угоден Богу, потому что тот путник, что жил моей жизнью, недостоин столь неожиданной и сладостной ласки. Ослепни! — приказал я себе, потому что не верил своим глазам, и уже не хотел верить в то, что вновь обманул».

Бесик Харанаули не делит людей на две категории: с бесовским началом и без него. По его мнению, бесовское начало присутствует в каждом человеке, демаркационная линия между положительным и отрицательным проходит внутри него. Вот, к примеру, персонаж поэмы, олицетворяющий бесовское начало, — на первый взгляд почтенная «тетя», седина которой вызывает чувство святости, как «белый купол храма, один вид которого гасит в нас страсть и делает осмотрительными». В действительности она — дикий человек, убийца мужа: она заставила своего любовника зарубить мужа топором.

Звериное начало в человеке, по мнению автора, непреодолимо. Уродливые формы борьбы за существование, тотемы и



ՀԱՐՈՅՑԱԿԱՆ  
ՀՈՂԱՆՈՒՄԱՆ

фетиши в человеческом сознании, страх и насилие, духовная слепота и жестокость ведут нас к возрождению варварства. Человек к тому же является и жертвой нравственного раздвоения. Бесовское начало, разнузданность страстей часто приносят огромные страдания, вступают в мучительные противоречия с другими началами в человеке («Как же мы обездолены — на то, что нам дарит земля, свой запрет налагает небо. И мы распяты на собственных крестах, разве ты не видишь?»). Поэт дает образцы социальной критики, несколькими точными штрихами рисует теневые контуры эпохи, старается достичь остроты политической сатиры. Поставить перед собой проблему и решить ее в этическом плане — это его компетенция. И эта проблема — проблема человека, концепция человека сегодня. Вчитываясь в поэму, начинаешь понимать, что гуманизм автора возник на здоровой почве.

**Нам сперва говорили:**

- А ну смейтесь:
- И мы смеялись:**
- Ха-ха-ха...

**Потом нам сказали:**

- Теперь плачьте!
- И мы зарыдали:**
- Ой-ой-ой...

**А потом нам сказали:**

- Вот посмотрите, на что вы похожи!
- Ненавижу всех, кому безразличен человек.**

(подстрочный перевод)

Чувствуется, что за время, прошедшее после написания «Куклы-калеки», умственный горизонт автора значительно расширился. Он рассматривает здесь человека в гораздо более сложном контексте, чем в «Кукле-калеке». Отдает дань истории в осмыслении подобных проблем. И человека рассматривает с тех же позиций. Главный герой поэмы понимает, что его происхождение относится к глубокой древности, он «идет откуда-то». Но предполагает, что идет в никуда. Путь человека вообще ведет в никуда, думает он, и потому он уже более снисходителен к нему: «Он — путник и все пытается вспомнить, откуда идет. Не удивительно ли, какой он прошел путь! Он солнце узрел среди этих вздохов и переписал все, что видел. Не требуйте от него того, что ему не по силам, и не приковывайте его цепями к себе самому».



Под конец следует сказать, что самой <sup>существенной</sup> главной темой поэмы «Что написано на белой бумаге?» является тема женщины. На той ступени, на том творческом этапе, когда писалась поэма, для автора как будто наиболее близким был панэротизм. Женщина (а не чувство любви) — его последняя пристань, его убежище, идея всех идей, смысл жизни: «Придвинься, женщина, все — мужья и жены, нет ни единой пары, сотворенной природою вместе».

Автор не боится впасть в своего рода противоречие и, похоже, скептически смотрит на то обстоятельство, что для него женщина — спасение от одиночества, бегство от грубой действительности, сознательное или бессознательное средство забвения. Автор называет женщину «убежищем», не желая смириться с утверждением, что она для него сосуд греха, виновница его угрызений: «Зачем мы роем убежище, или от чего мы хотим укрыться? Почему угасаем и почему жмемся у развалин нашей страсти? Что мы ищем — какую новую пуповину, какую новую связь? Не можем привыкнуть к одиночеству?»

Несмотря на это кажущееся противоречие, на его утверждение, что надо скрывать, что любимая женщина это средство уйти из грубой действительности, женщина в то же время, и это главное, является сильнейшим жизненным зарядом, обостряющим все жизненные ощущения. Автор призывает все свое мастерство, чтобы выработать метафоры, выражающие эротические чувства и с непосредственностью восточного гедонизма воспевают наслаждение.

Далее эротическая тема, похоже, приобретает биографическую конкретность (VIII глава), главный герой ближе знакомит нас с предметами своей любви, и читатель, пожалуй, не возражал бы против этого, если бы в этой VIII главе автор не проявлял, на мой взгляд, явных признаков эксгибиционизма. Вот, к примеру: «...Ты видел женщин лишь ниже пояса, словно хотел угадать, какая из этих женских половин принадлежала святой. А они покачивались впереди, словно говоря: и тебе... и тому... и тебе... тому...»

«Вот она склонила голову, откинула волосы, и показалось розовое ухо и шея, платье поползло вверх и застыло чуть выше колен... Несравненное мгновение!».

Я привел эти примеры, чтобы подчеркнуть, что между здоровой эротикой и цитируемыми местами большая разница. А поэме нашего автора, исходя из ее стилистики и идейного арсенала, соответствуют более здоровые чувства.



Мы уже говорили, что, согласно произведению, на чистом листе бумаги ничего не написано. Поэма — без ответа она не отвечает на вопрос, что написано «на чистом листе» бытия. Но поэма все же не заканчивается негативно — как уже было сказано, любимая женщина — прибежище для поэта, тихая гавань, последняя, конечная пристань. Поэма заканчивается сценой, венчающей эту тему и подтверждающей авторскую мысль. В женщине — спасение для главного героя.

А теперь вчитаемся в нижеследующие строки, столь богатые весьма смелой и, на мой взгляд, совершенно здоровой эротикой, в которых как бы концентрируется главная мысль произведения, и увидим, что в них нет ничего болезненного, неестественного: «О спрячь меня, молю, спрячь меня где-нибудь в пещерах времени, или хотя бы в земле, где меня уже никто не разыщет... или хотя бы, о, хотя бы в твоём существе, потому что передо мной не откроется уже никакая другая дверь!

Ты видишь меня? Видишь, как я бросаюсь к тебе, бьюсь о тебя, тычусь тебе в грудь, хватаю, сжимаю в объятиях... О, отворись, раскройся,пусти, заключи меня в себе, а потом, потом... затворись, запечатайся, укрой меня, не удостоенного ответа!»

У Бесика Харанаули есть одно замечательное качество: он никогда не старается писать усложненно. Он естествен и исключительно раскрепощен, не боится откровенности и естественных своих чувств. Именно это, по его мнению, по-настоящему сложно. Чтобы раскрыться до конца, считает он, надо быть исключительно смелым и уметь высказаться до конца, надо быть максимально простым, естественным и непринужденным. Это — единственный в литературе путь для него.

Претенциозный тон ныне очень распространен в нашей поэзии. Поэты различных поколений стремятся писать в той стилистике, которая не отражает их художественного лица, не соответствует их поэтической сущности. О таком же явлении в сегодняшней русской поэзии с обычной для него точностью писал Александр Межиров: «Мне кажется, что сейчас многие поэты, в том числе способные, выглядят в стихах сложней себя, то есть не в силах соблюсти равновесие между тоном и смыслом, между «как» и «что». Тон многозначительнее смысла, «как» сложней, чем «что». В шестидесятые годы стихи Ю. Мориц не были сложней или же значительно сложней себя, не отличались, как говорил Пастернак, «от лица». Это до начала соревнования на сложность с Б. Ахмадулиной.



Похоже даже, что сейчас такая мода: быть сложнее себя. Но у моды, как известно, есть все, кроме будущего.

В основе упомянутой претенциозности, желания показать себя сложнее, чем ты есть на самом деле, лежит маленькая тайна, о которой должен знать читатель: чем больше ты стараешься превзойти себя, собственное естество, тем более заметны недостатки твоей поэзии, бедность чувств и ложная патетика. Благодать поэзии уходит из стиха. Ее заменяет претенциозная сложность, ненужная поза.

У Бесика Харанаули, как правило, подобных попыток нет. Но в последнее время он порой пишет излишне упрощенно. В отдельных стихотворениях или строчках он бывает так инертен, будто занимается неприятным для себя делом. Но подобное явление еще не превратилось в стилистическую систему его поэзии. Оно, вероятно, продиктовано тем, что лейтмотивом его поэзии является чувство стыда, экзистенциального стыда (что означает стыд, порожденный самим фактом своего существования)...

Ощущение несовершенства бытия, система вкусов поэта прекрасно отображены в смещении его масок. Маска — одна из граней его поэтической личности; маска может быть эмблемой его мироощущения. Иногда поэтическая маска — это бытовой образ, в котором можно увидеть и второстепенные пласты жизни, скрывающие и «защищающие» главное. «Где только я не бывал, у чьих только калиток не привязывал своего коня! Всюду я оставлял какую-нибудь из своих личин: где — рыцаря, где — бражника, где — труса. Я же сам, я настоящий, для всех оставался неведомым» («Минуты и мгновения»).

Поэт, как уже было сказано, глубоко переживает всеобщую драму, заключающуюся в том, что человек не идентичен самому себе. Он особенно чувствителен к той психологической и нравственной нестабильности, которую условно можно назвать духовным «камуфляжем» или моральной «мимикрией» человека. Она помогает человеку бережно сохранить и глубоко спрятать образ своего «я», но, с другой стороны, мучает его своей недостойной изменчивостью, нестабильностью. Вообще личность человека меняется в зависимости от обстоятельств, колеблется, часто скрывается под маской и, порой, настроена спрятаться вообще. Но поэт задумывается не только о метаморфозах человеческой личности, но и о проблемах собственной отчужденности.

В следующем стихотворении того же цикла поставлен все тот же вопрос. «Пусть летят дни за днями, их стремленье



все более отдаляет тебя от былых путей, тех, что изменили тебя, сделали другим. Пусть летят дни за днями, пусть мчатся, ты только крепче держись за перекладину саней». Здесь дается еще более четкая картина неидентичности личности и тревожной действительности. Сознание человека травмировано этой сменой лиц — в каком образе я настоящий? — когда прекратится это преобразование? — сколько же лиц могу я иметь — до каких пор человеку нужны будут маски?

Но мы знаем, поэту известен глубинный образ его истинного «я»: когда он приезжает к матери в деревню, он может удержаться за перекладину саней — испытать стабильность своей собственной личности.

Вообще, каждая маска — компромисс, отступление. Мы все ходим под масками. «Если раньше, в античном театре, актеры укрывались за масками, то сегодня актеры выходят на сцену без масок, но зато теперь в масках — зрители», — писал один мыслитель. И Бесик Харанаули чувствует, что маска обязательна, неизбежна как жизненная необходимость. Многоликость человека превратилась в закон его бытия: «Смелее, мать! Породи нас, выпусти в мир! И если жизнь нам окажется невмоготу, мы сумеем хоть подобрать себе маски».

Совершенно иное значение приобретает маска в его поэзии, когда он с ее помощью выражает собственное мироощущение. Аист, сбитый охотником (стихотворение «Аист»), как будто не его маска, поэт ему только «подражает», «подражает» ему умирающему: «Когда валюсь ничком на постель и зарываюсь лицом в подушки и раскидываю руки по сторонам, знаешь, кому подражаю я, милая? Аисту, сбитому пулей охотника в дни моего детства». Таким образом, подстреленный аист — его эмблема. Правда, конкретный образ в эмблеме подразумевает общую идею (например, змея — мудрость), в маске же — все наоборот, но между эмблемой и маской нет принципиальной разницы (эмблема выражает более общую идею, общественные понятия, а маска — более личные признаки, т. е. и там и тут использована условная символика). Главное в стихотворении — графическое изображение душевных страданий.

Прекрасная эмблема создана в замечательном лирическом стихотворении «Февраль. Рощи вдоль Иори», которое выделяется своей искренней проникновенностью. «В рощах вдоль Иори бродит лошадь, хромая, худая, и в этом огромном... в этом необъятном... мире никто не видит ее, кроме волка...»



Эта хрошая лошадь — эмблема автора, такая же эмблема, как кукла-калека, бродячая собака...

Его маски в основном трагического характера. В том же стихотворении («Февраль. Роши вдоль Иори») встречается еще одна маска, также несущая отпечаток артистической печали: это пожелтевший лист. Поэт обращается к своей любимой: «...и когда я умру, проводи рассеянным взглядом подхваченный ветром желтый лист — как мое обличье».

Автобиографическое стихотворение «Я родился осенью», рисуящее сюрреалистический пейзаж, отличается необыкновенным драматизмом. Здесь же мелькает маска поэта как его визитная карточка: «Сухой лист блестел наверху».

Национальным чувством проникнуто небольшое стихотворение «На дорогах Картли». Художественную ценность стихотворения составляет не только довольно оригинальная система образов, но и необычная, неординарная связь этих образов с национальным чувством. Именно так завуалированно, скрыто должно звучать чувство истинной любви к родной земле: «Тонкою струной скрипичной протянулся луч-вдоль пашни, и звенел напев отчизны под смычком летучим ветра, и родник, как грудь Тебронэ, трепетал в горсти крестьянской, и на синем окоеме полыхал пшеничный холм».

А вот образец философской лирики, который на первый взгляд не имеет ничего общего с этим жанром. Это стихотворение без заглавия — представляет собой развернутую метафору и является одной из вершин поэзии Б. Харанаули.

**И вот всегда,  
как только я на жизнь  
уставляю взглядом волевым  
и превратить решу  
в богатство мою бедность,  
а трусость — в рыцарство...  
является мне видение несчастной, больной и  
дрожащей девочки... И она говорит мне:  
«Я уж давным-давно,  
как помню себя,  
в таком состоянии, и все, кто только,  
готов, как ты, на борьбу,  
дают меня обычно на своем пути!»**

(подстрочный перевод)

В действиях человека заложена ошибка — эта мысль не нова. Решительные действия содержат в себе ошибки и на-

силе. Так что же делать человеку — ошибаться или бездействовать? На этот старый вопрос давались разные ответы. Подобное философское сомнение звучит в стихотворении «И всегда, когда жизнь...» Альтернатива такова: волевое действие лирического героя, скажем, его шаги к приобретению богатства, вызывает роковую ошибку, поскольку его обогащение происходит за счет чьего-то обеднения. Люди ведь делятся на насильников и жертвы.

Более интересна другая парадигма. Лирический герой настроен по-боевому — хочет быть рыцарем, но и тут мы получаем трагический баланс: оказывается, рыцарский акт одного человека связан с муками и унижениями другого. Так что же делать человеку — действовать решительно или постоянно думать о несчастной и больной девочке? Автор, естественно, не дает ответа. Он знает, что у каждого читателя свой ответ на этот вопрос.

В грузинской лирике немало произведений, посвященных матери. Среди них — заслуживающее внимание стихотворение Бесика Харанаули «Моя милая мама, ты постарела и выбираешь грустные стихи».

Центральное место в его лирике занимает известное стихотворение «После чувства стыда». Чувство стыда — основная нравственная мера в его поэзии. Например, в стихотворении «Угрызения» он говорит: «Каково, когда прячешься от самого себя и от звезд, и пол все же предательски скрипит...» Экзистенциальный стыд пронизывает всю его лирику. Он внимательно изучает чувство стыда в собственном бытии и лишь изредка конкретизирует его. Иногда, желая спастись от этого мучительного чувства, он обращается к Богородице, лишь от нее ожидая спасения и помощи. «В матери все мы нуждаемся, в матери! Не в той, у кого лицо все — в морщинах, а в той великой, что под веками хранит нашу жизнь» (подстрочный перевод).

Стихотворение «После чувства стыда» написано в форме своеобразной молитвы, которую произносит одна из масок поэта, божественный человек. Он в какой-то степени напуган жизнью. Он зажигает сигарету «посреди перекрестка назло водителям автомобилей», или пьяный валяется на улице, ожидая, что его переедет проносящаяся машина. Но больше всего он опасается людей. Он убежден, что единственным его спасением является поэзия, творчество. Только оно может стать между ним и людьми, спасти его от гибели. «Здравствуй день, я вновь

стою перед тобой с пустыми руками! Не отдавай меня на съедение, избавь от муки тщетных поисков!».

Эмоциональным центром стихотворения является последняя четвертая часть, которая согрета необычными интонационными фигурами. Большую проникновенность стиху придает также необыкновенно интимное, теплое и земное обращение главного героя к Богородице. Подобная простота в обращении к ней, как к равной, такая близость, если не ошибаюсь, встречается у нас в горах, где религиозное чувство сравнительно более земное (вспоминается возглас горца, одного из персонажей Гурама Рчеулишвили: «Христос, мой родной!»). Главный герой не представляет себе ни одного трудного и тяжелого дня своей жизни без полного сочувствия взгляда Богородицы, без ее вмешательства в его судьбу.

Введение в богемные настроения образа Богородицы не ново для нашей поэзии. Стихотворение Бесика Харанаули «После чувства стыда» на этом фоне выглядит как бы народным заклинанием. Правда, в стихотворении слышится несколько голосов — это и молитва, и заклинание, и богемное настроение. Богемность — еще одна из антиконформистских масок поэта.

В стихотворении все определяет поэтический голос — каким голосом, с какой интонацией написаны его самые проникновенные места. Народные интонации придают его голосу невыразимую мягкость, проникновенность и глубину. Народная и городская эстетика в этом стихотворении, как и в большинстве других его произведений, переплетаются друг с другом.

Ораторский талант Бесика Харанаули особенно ярко проявился в его гражданских стихах («Гнев», «Правда», «Невозможное»), в них нашел яркое отражение нравственный облик поэта. По высоте чувств его поэзия всегда стоит на уровне его тем. Острый дух критицизма царит как в его поэмах, так и лирических стихах.

Вот один из образцов его гражданской лирики — стихотворение «Правда»: «Твое дыхание прилепилось к моей ладони, когда я в отчаянии зажимал тебе рот, потому что ты выкрикивала страшные слова, слова, которых я боялся всю жизнь. И я, охваченный ужасом, уничтоженный, вместо того, чтобы зажать себе уши, вталкивал тебе назад, в рот, эти слова. И вот чего я добился: твое дыхание осталось у меня на ладони...»

Мы коснулись лишь некоторых лирических произведений Бесика Харанаули, в которых наиболее четко и ярко проявилась художественная и нравственная сущность его творчества.

**Перевод Анны ФАЛИЛЕЕВОЙ**

## ПОДРАЖАНИЕ ГЕЙНЕ

**К**огда умер Гейне, юный Илья учился в Тифлисской гимназии, а год спустя поступил в Петербургский университет. Пути двух великих поэтов никогда не пересекались... А настоящие заметки написаны по другому поводу.

У Гейне в лирическом цикле «На чужбине» есть небольшое стихотворение. Вот его подстрочный перевод:

Я имел когда-то прекрасную отчизну.  
 Дубовое дерево  
 росло там так высоко, фиалки кивали нежно.  
 Это был сон.

Это все целовало меня и произносило по-немецки  
 (трудно поверить,  
 как хорошо это звучало) слова: «Я люблю тебя!»  
 Это был сон.

Стихотворение написано ямбом, пятистопные строки чередуются с двустопными. Окончания мужские, схема рифм — а б в б, т. е. нечетные строки не рифмуются, что вообще характерно для большинства стихотворений Гейне.

Привожу перевод П. Вейнберга из шеститомного собрания сочинений Гейне (1904 г.):

Имел я некогда прекрасный край родной,  
 Высокий мощный дуб шумел там надо мной,  
 И посылали мне фиалки свой поклон —  
 То было сон!

Шептали мне «люблю» на языке родном —  
(Ах, трудно и понять, как много в звуке том  
Таилось прелести, как тешил душу он!)

То было сон!



Размер и рифмовка, отличающиеся от гейневских, обилие сентиментальностей. слишком длинное вводное предложение во второй строфе, — все это сразу же бросается в глаза.

Вот перевод А. Кочеткова из двенадцатитомника 1935—1949 гг.:

Был у меня прекрасный отчий край.

В краю родном

Рос гордый дуб, фиалки там цвели.

То было сном.

Там целовали, там твердили мне

(О как знаком

Казался сладкий звук!): «Люблю тебя!»

То было сном!

Перевод довольно аккуратный, размер и рифмовка — такие же, как в подлиннике, но вторая строфа несколько слабее первой; глагол «целовать» требует объекта — кого? что? У переводчика же получилось «целовали ... мне». Вводная фраза в скобках — вполне «нормальной» длины, но имеет по сравнению с оригиналом иной смысл. (Кстати, в середине предпоследней строки — редкий случай четырех знаков препинания подряд).

В десятитомном издании Гейне (1956—1959 гг.) дан перевод М. Михайлова — старый, менее точный, без пресловутого вводного предложения, но более поэтический:

И я когда-то // знал край родимый...

Как светел он!

Там рощи шумны, фиалки сини...

То был лишь сон!

Я слышал звуки родного слова

Со всех сторон..

Уста родные «люблю» шептали...

То был лишь сон!

Двумя косыми черточками в первой строке я обозначил паузу: в этом переводе каждая нечетная строка разбита на два ямбических двустопника, либо это пятистопник, но с цезурой вместо третьего ударного слога; ритмически первая строка построена не совсем удачно, т. к. сочетание слов «И я когда-то знал...» представляет собой трехстопный ямб, и при первом чтении невольно спотыкаешься перед словами «край родимый». Надо делать искусственную паузу перед «знал» и произносить это слово без ударения, чего при первом чтении не достигается.

Я сделал попытку перевести это стихотворение в размере подлинника. Кроме того, мне хотелось подчеркнуть некоторые фонетические особенности оригинала (пятикратно повторенные одинаковые звуки в каждом четверостишии), для чего я ввел внутреннюю рифму в середину первой и пятой строки:

Был отчий дом, отчизна у меня.

В краю лесном

был дуб высок, фиалки так нежны...

Все было сном!

И на родном немецком языке

(теперь с трудом

я верю в это) слышал я: «Люблю...»

Все было сном!

Это стихотворение Г. Гейне 19 января 1859 г. в Петербурге было переведено на грузинский язык классиком грузинской литературы, выдающимся общественным деятелем Ильей Чавчавадзе. Перевод был сделан вольно, и ему был придан большой исторический и политический смысл. Привожу подстрочник этого перевода, или, точнее, стихотворения на темы Гейне:

И я имел хорошее отечество!..

Там (оказывается) господствовала любовь,

там (оказывается) парила улыбчивая судьба, —

теперь же это — только сон!

И там (оказывается) блистали дни,

и там проживали преданные сыны,

тогда открытой была утренняя заря, —

теперь же это — только сон!



Вот этот-то перевод немецкого стихотворения на грузинский язык я решил перевести на русский, по возможности точно и в приближении к своеобразной ритмике оригинала.

Знал я некогда край родимый,  
чувством нежности одолимый;  
был он жребием озарен.  
Ныне все это — только сон!

Годы славные там блистали,  
жили витязи крепче стали,  
был приветливым небосклон.  
Ныне все это — только сон!

В сочинениях Ильи Чавчавадзе перед этим стихотворением вместо названия стоит «Подражание Гейне». И я считал, что оно на русский язык не переводилось. Мне, во всяком случае, к началу 60-х годов такие переводы не встречались. Нет этого стихотворения и в одготомнике поэтических произведений Ильи, изданном в большой серии «Библиотеки поэта».

Прошло четверть века после написания мною этого небольшого исследования, которое я тогда так и не напечатал. А к 150-летию со дня рождения Ильи Чавчавадзе в журнале «Литературная Грузия» (№ 10, 1987) я обнаружил перевод, выполненный Камиллой Коринтэли:

Да, родина была и у меня!..  
Любовь царила там, мечту даря,  
И благодна ко всем была судьба...  
Теперь же это все — далекий сон!

Сверкая счастьем, дни текли,  
Рождались рыцари-богатыри,  
И небеса сияли, так чисты...  
Теперь же это все — далекий сон!

Понятно, что автор этого перевода не ставила перед собой задачу адекватного смыслового и ритмического воспроизведения того, что было написано Ильей. Отсюда — другой размер, другая система рифмовки, приблизительность рифм. Непонятен (вероятно, случаен) пропуск одной стопы, т. е. двух слогов в первой строке второй строфы, но — смысловая чи-

стота строк и великолепно сделанный рефрен: «Теперь же это  
все — далекий сон!..»

У многих классиков имеются стихи на темы других поэтов, но они переводятся наравне с оригинальными произведениями. Например, лермонтовские «На севере диком...» и «Горные вершины» переводились и на немецкий, хотя сами являются вольными переводами с немецкого. И мне думается, «Меца мкониа карги мамули» также должно переводиться на другие языки, т. к. является произведением чисто грузинским по своему духу, смыслу и форме.

## „Простой души чарующие ЗВУКИ...“

Лермонтов жил и творил в эпоху, омраченную звоном цепей, сковывавших порывы лучших сердец и блестящих умов России, когда потерпели поражение декабристы и угас дивный гений сраженного на дуэли поэта, когда сурово подавлялась любая бунтарская мысль, а серая обывательщина подменяла многоцветность духовной жизни человека. Но бунтарский дух писателя не мог смириться с этой позорной действительностью. Он заявил о себе в ряде стихотворных произведений программного характера, а позднее в сдержанно-прозаической форме психологического романа «Герой нашего времени».

В этом произведении внутренний мир персонажей раскрыт настолько правдиво, с такой силой художественного проникновения в психологию человека и с такой искренностью отражения мельчайших порывов его души, что персонажи «Героя нашего времени» живут на страницах романа полнокровной жизнью со своими маленькими радостями или печалью, казалось бы далекими от больших проблем эпохи — в этом проявляется своеобразие творческого почерка писателя, сохранившего лишь за одним персонажем право называться Героем, наградившего его за это право обжигающим чувством неудовлетворенности всем, что предстает перед ним. Это чувство тем сильнее владеет человеком, чем меньше у него возможности выплеснуть неудовлетворенность через бунтарский протест. И хотя только одно лицо в романе названо автором — то ли иронически, то ли полупечально — «героем» и тем самым как бы приподнято над другими, в произведении Лермонтова нет главных и второстепенных персонажей, а есть лишь более или ме-

нее глубоко раскрытые автором и более или менее близкие его сердцу и, следовательно, сердцу читателя образы. Всех их объединяет в произведении и как бы расставляет по своим местам одно лицо, отражающее идею о бренности высокого ума, когда ему нет применения в жизни, и о безысходности страданий человеческой души, терзающейся сознанием этой бренности. Без сомнения, этим лицом является Григорий Александрович Печорин.

Среди многих персонажей, связанных с этим лицом, назван Максим Максимыч, старый офицер, дослужившийся до чина штабс-капитана, один из тех военных, кто раз и навсегда принял установленный распорядок жизни и не мыслит себя вне военной службы. Хотя этот дисциплинированный, никогда не пренебрегавший интересами службы (за исключением, может быть, последней встречи с Печориным в пути) и волевой (проявивший достаточную силу характера, когда раз и навсегда отказался от спиртного) человек сроднился с суровой обстановкой походной жизни на маршах или службы в крепости, где не услышишь не то что умных, теплых, сердечных слов, но и простого «здравствуйте» — потому что фельдфебель говорит «здравия желаю», — и где человек приучен лишь к строгой исполнительности, неуклонному следованию жестоким нормам военной службы, к казарменной сухости в обращении с окружающими, черствости души, привыкшей к виду смерти, равнодушию к чужому горю и страданию, он тем не менее — добрейший человек, светлая душа, не выхолощенная серостью «мундира шагистики».

Старый офицер, убеленный сединами, но довольно крепкий и выносливый, бодрый и энергичный, Максим Максимыч так привык к лишениям военной жизни и так сжился с окружающей обстановкой, что для него, — отмечал Белинский, — «жить» — значит «служить и служить на Кавказе».

Суровые годы военной службы на окраине империи, скудно питающие ум и сердце человека, оторванного от родной среды, когда годами не видишь никого, с кем бы поделиться мыслями, кому бы излить душу, должны были покрыть «корой зачерствелости» сердце этого «служаки». Но они научили Максима Максимыча только сдержанности. Он не входит первым в контакт с окружающими, держится на расстоянии, но не избегает людей. Именно такое впечатление о случайном спутнике складывается у автора.

«...Он молча отвечал мне на поклон и пустил огромный клуб дыма.

— Мы с вами попутчики, кажется?

Он молча опять поклонился.

— Вы, верно, едете в Ставрополь?

— Так-с точно... с казенными вещами».

Сдержанное достоинство человека, много 341935940  
30200000000 **видевшего** в жизни, проявляется с первых минут общения Максима Максимыча с новым для него лицом. И только позднее штабс-капитан становится более общительным и рассказывает автору историю Белы, в которой проявилась вся доброта и отзывчивость его одинокой души.

Но история Белы — исключительный случай, помогающий автору раскрыть сущность натуры старого служаки. А в общем Максим Максимыч любит показать строгость и умеет сердиться. Резкое неодобрение с его стороны вызывает лукавство проводников, рассчитывающих побольше взять с проезжающих и поэтому заставляющих быков плестись шагом, как бы через силу. «Ужасные бестии, эти азнаты», — так оценивает он проделку проводников.

О людях Максим Максимыч судит по их боевым качествам и без сочувствия относится к угнетенным людям, не способным отстаивать свое право на жизнь и поэтому не склонным носить оружие. На воинственных горцев Максим Максимыч смотрит с уважением. Их непокорность вызывает в нем невольное одобрение: «Уж по крайней мере наши кабардинцы и чеченцы, хотя разбойники, голыши, зато отчаянные башки». Старик признает, что горцы доставили русским немало забот, и тем не менее не может не отметить их бесшабашную удаль: «...где-нибудь косматый дьявол сидит и караулит: чуть зазевался, того и гляди — либо аркан на шее, либо пуля в затылке». «А, молодцы!» — так оценивает Максим Максимыч горцев, и эта оценка тем более весома, что звучит в адрес опасного противника. Только храбрец может уважать в другом бесстрашие, это достойная черта человека, которая в полной мере характеризует Максима Максимыча. Он не раз показал себя в деле храбрым офицером, заслужившим одобрение такого строгого генерала, как Ермолов, иначе где ему, небогатому и незнатному, дослужиться до чина старшего офицера.

Во время совместного с автором переезда по Военно-Грузинской дороге раскрываются особенности натуры Максима Максимыча. Он прост в общении с окружающими и не различает людей по занимаемому ими положению в обществе. К каждому, с кем сталкивается его судьба, он относится с трюга-

тельной сердечностью, проглядывающей сквозь внешнюю строгость. Тепло встречает Максим Максимыч назначенного к нему Печорина. «Очень рад, очень рад, — говорит он вновь прибывшему. — Вам будет немножко скучно... ну, да мы с вами будем жить по-приятельски. Да, пожалуйста, зовите меня просто Максимом Максимычем».

Давно живя на Кавказе, старик знает язык и обычаи местного населения и настолько проникся уважением к этим обычаям, что не отказывает «мирному» князю в приглашении приехать на свадьбу его старшей дочери, а у себя в крепости Максим Максимыч угощает чаем Казбича, который хоть и разбойник, но, поскольку он гость в его доме, Максим Максимыч встречает его по кавказской традиции, как кунака. Тепло принимает штабс-капитан и Азамата, пятнадцатилетнего юношу-черкеса, которому понравилось бывать у русских.

Достаточно проницательный, чтобы понимать слабости и лукавство окружающих, касается ли это изворотливого противника или услужливого собрата, Максим Максимыч умеет обращаться с людьми: где надо, прикрикнет на не в меру надоедливых провожатых, где надо, предостережет не в меру алчного мальчишку, таскавшего баранов из отцовского стада, где надо, пожалеет девушку-сироту, имевшую несчастье понравиться молодому офицеру.

Достаточно опытный в общении с горцами, чтобы не почувствовать угрозы надвигающейся схватки на свадьбе, и достаточно осторожный, чтобы не желать невольно оказаться ореди дерущихся, Максим Максимыч уговаривает Печорина немедленно ехать в крепость.

А сколько отеческой доброты скрывается в этом внешне, казалось бы, сухом, даже суровом человеке! С какой трогательной заботливостью и сердечностью относится он к юной черкешенке, ставшей пленницей русского офицера, что позднее привело к трагической развязке. Узнав о похищении Белы, Максим Максимыч, обычно не придирчивый к своим подчиненным, сердится на Печорина, делает ему выговор, убеждая вернуть девушку в родной аул, но тут же сдается, уступая силе и полной неоспоримости для него доводов подчиненного. И когда этот убеленный сединами штабс-капитан с досадой признается своему попутчику, как он растерялся и спасовал, столкнувшись с холодным самообладанием Печорина, полным его равнодушием к порицанию, своего рода суду чести, то начинаешь понимать причину неудавшейся попытки Максима Максимыча спасти Белу. Она заложена в первоизданной чисто-

те его натуры, неискушенной в гибких изворотах мысли, поддающейся влиянию более развитого ума и неспособной на благородную ложь, единственную, которая может спасти положение и вернуть девушку в отчий дом с удачным объяснением ее отсутствия.

Природный ум, наблюдательность, проницательность помогают Максиму Максимычу разобраться во многих жизненных ситуациях, как-то связанных с его служебным миром. Но то, что выходит за пределы этого мира, что нарушает привычную размеренность его установившейся жизни, застигает Максима Максимыча врасплох, вызывает его полную растерянность, лишает уверенности действий. Но с тем большей теплотой относится штабс-капитан к юной пленнице, с участием следит, как развиваются события вокруг нее, радуется блеску ее загоревшихся счастьем глаз, а когда Печорин охладевает к своей «пери», Максим Максимыч окружает молодую женщину особой заботой, старается вселить в нее надежду, отвлечь от мрачных мыслей.

Лермонтов особо подчеркивает всю глубину человечности своего персонажа в двух эпизодах, связанных с Печориным: первый — трагическая гибель Белы, второй — последняя встреча с Печориным. Не удивительно, что Белинский слышал биение «горячего сердца... под грубой наружностью» штабс-капитана и ощущал «теплоту души... под корой зачерствелости от трудной и скудной жизни».

Суровая действительность военной службы на Кавказе не задушила в Максиме Максимыче прекрасных качеств его души: способности сострадать чужому горю, отзываться на чужую беду, потребности заботиться о слабом, обиженном, обездоленном. Все это проявляется в нем столь естественно и в то же время ненавязчиво-сдержанно, что воспринимается как нечто должное, заложенное Природой во всем живом. И можно только сожалеть, что в наши дни эти черты все реже встречаются в человеке вообще, и носящем военную форму в частности.

Лермонтов сумел увидеть в своем герое и донести до читателя прекрасные качества человеческой души, часто скрытые под огрубевшей оболочкой. Жизненные бури и вихри не могут убить их. Они присущи каждому нормальному человеку, не испорченному дурным воспитанием или влиянием загнывающей среды.

Шота НИШНИАНИДЗЕ

## НЕСКОЛЬКО СЛОВ О КНИГЕ И О ДНЕ СЕГОДНЯШНЕМ

**Н**ыне в Грузии беды и невзгоды обрушились на все сферы жизни, но писательские беды достигли таких масштабов, что закономерно возникает вопрос: быть или не быть литературе? Без бумаги нет книги, без книги нет литературы, а без литературы не станет нации. Ужасающая дороговизна бумаги привела к подорожанию книг, дорогостоящие книги почти никто не покупает. Особенно трудно приходится поэтам. Людям не на что провизию купить на рынке, станут ли они приобретать сборники стихов. Не издаются более книги современных авторов. До сих пор писатели жили доходами от книг, а теперь как им существовать? Вероятно, этот кризис продлится до тех пор, пока республика не будет иметь собственную бумагу. Ученые уверяют, что бумагу можно изготавливать и из травы, но это, видимо, дело будущего. А как быть сегодня? Перестать писать и, раз нет бумаги, перейти на устное творчество?

В настоящее время в Грузии работает несколько сот писателей, абсолютное большинство из них — молодые, и дай Бог, чтоб их было еще больше. Лучше держать в руках перо, чем автомат. Но как им существовать, если в ближайшем будущем книги не будут иметь спроса? Как государство может помочь литературе? Если правительство будет дешево продавать государственным издательствам дорогостоящую бумагу, тогда книги подешевеют и будут хорошо раскупаться, но такая манипуляция влетит в копейку государству. Может, на данном этапе лучше ввести зарплату, временно отказавшись от гонорара за книгу? (К примеру, в Швейцарии писателям, помимо гонорара, выплачивается жалованье в размере 1000 долларов).



Но как в бедном государстве обеспечить пятьсот человек достаточной зарплатой? Может, разделить писателей на категории? Нет, в Грузии это не пройдет. Трудно предсказать, что придется тогда вытерпеть писателям первой категории от их коллег, попавших в другие категории.

На память приходит анекдот.

Во время войны грузинские писатели проходили за городом военную подготовку. По команде: взвод, на первый-второй рассчитайсь! — стоявшие в строю писатели-солдаты стали бодро выкрикивать по очереди:

— Первый!

— Первый!

— Первый!

Книгу творит писатель, а судьбу книги творит читатель. Читатель — судья, приговор его окончателен и, как говорится, обжалованию не подлежит.

В прошлом, и совсем еще недавно, немало писателей жили милостями государства. Отныне все писатели должны будут рассчитывать только на свой талант.

Сейчас, в условиях безбумажья, издают книги на собственные средства такие авторы, которых прежде ни одно издательство не подпускало на пушечный выстрел. Большинство этих авторов, разумеется, бездарны, а их издатели — бесстыдны. Эти издания антихудожественны, полны графоманского бреда, ложной оригинальности, непристойностей. К непристойностям, «шокирующим откровениям» прибегают, естественно, убогие писаки, чтобы хоть как-то привлечь к себе внимание.

Рыночные законы вторглись и в мир книг и утвердили рыночные вкусы. Множится литература, пропагандирующая порнографию, садизм, черную магию и политические интриги. В книжном мире, как и в жизни, царит полная анархия и безответственность. Не существует более эстетических критериев; критики отвернулись от литературы и примкнули к политикам.

Пора решительно запретить издание слабых (хоть и доходных книг). Прибыль дадут и книги прославленных авторов. Продавая слабые книги, мы продаем и свою совесть, обманываем читателя и самих себя. Выпуская слабые книги, мы только извращаем вкусы читателей и никак не способствуем развитию литературы. За издание слабых книг следует установить солидные денежные штрафы. Надо штрафовать всех дающих рекомендацию слабым книгам: рецензентов, редакторов, издательства, — избавив читателя от наказания читать слабые книги.

Хочу напомнить историю развития книги: камень — глина — пергамент — папирус — пальмовые листья — древесная кора — бумага. Первая монументальная книга — законы вавилонского царя Хаммурапи — была высечена на огромных базальтовых камнях, весивших десять тонн. Ныне этот текст умещается на пятидесяти страницах. Во времена Цицерона «Илиаду» Гомера хранили в ореховой скорлупе. Потом учение Будды удалось записать на рисовом зерне. И наконец, человечество создало микроскопические книги. Мир сегодня — это «галактика Гуттенберга». Благодаря изобретению Гуттенберга книга победоносно шествовала в авангарде человечества и... в конце XX века оказалась в Грузии в тупике.

Несколько слов об авторитете писателя.

Где бы ни появился писатель — на улице, в транспорте, в учреждении, — он везде должен быть окружен почетом и уважением. Я говорю это не из тщеславия. Я хочу, чтобы в Грузии уважали талант и не смеялись над человеком, лишенным таланта. Сотни несчастных, мнящих себя писателями, являются сейчас предметом насмешек. Разве это нормальное явление для страны с большой литературой? Встретив Данте на улице, флорентийцы в ужасе отшатывались: «О, Боже мой, он был в аду». Сograждане считали своего божественного поэта возвратившимся из ада, настолько верили они в гипнотическую мощь его таланта. В Грузии же не только на рядового поэта, но даже на короля поэтов многие современники взирали с улыбкой, ибо нечитатели не знали, кто настоящий, а кто не-настоящий поэт. Поэтому надо повысить престиж, авторитет таланта.

В прошлом, а может, в позапрошлом году я стал свидетелем того, как огромная толпа едва не высадила витрину одного из книжных магазинов. Сердце мое учащенно забилося: нет, не перевелись в Грузии книголюбы, интересно, что это за книга и кто ее счастливый автор? Подойдя поближе, я обомлел, не в силах поверить своим глазам: разгоряченные, радостные читатели несли из магазина не книги, а туалетную бумагу. А с пыльных прилавков на происходящее взирали познавший ад Данте и автор «Человеческой комедии» — Бальзак.

Да, труднее всего сейчас приходится литературе, и прежде всего духовной. Этот духовный кризис эпохален, он вызван как крушением идеологии (пусть даже это крушение — знамение прогресса), так и социальными катаклизмами. Поскольку литература по традиции считалась печальницей и заступницей нации, многие сочли закономерным потребовать у

литературы ответа по поводу происшедших в Грузии событий.

— Где вы, почему безмолвствуете? — возмущались оба лагеря. По телефону нам слали проклятия, причем почему-то исключительно женщины. Многим гражданам почему-то кажется, что возвысить голос — это значит драть глотку на митингах и демонстрациях. Стихотворение, рассказ они не принимают в расчет. А ведь сколько было опубликовано смелых, правдивых стихов, рассказов, статей, выражавших общенародную боль, а не интересы какой-нибудь одной стороны баррикад. Слово, подлинно художественное слово — это и есть наш голос в защиту добра и справедливости. Но не слышащие слова Божьего, разумеется, не услышали и писателей.

В развитии народов можно наблюдать восходящую и нисходящую фазы. Сейчас мы, к сожалению, во власти нисходящей фазы, люди измельчали...

Вчерашние читатели поставили будки перед своими домами и спекулируют мелким товаром, заворачивая проданное в листы, вырванные из книг... Боже, неужели это и есть путь возрождения находящейся в упадке нации, давшей миру Руставели и Чавчавадзе?

Вчерашние читатели книг читают теперь одни только газеты, ищут в политических интригах и сенсационных сплетнях духовную пищу. Оскудел социальный институт наших национальных характеров. Редко встретишь в наши дни женщину — Асмат и мужчину — Автандила. Поэты предыдущего поколения были счастливее нас. Их окружали друзья — верные, преданные Асматы и Автандилы, служившие им надежным щитом и опорой, жившие и дышавшие стихами, поэзией. Они сопровождали любимых поэтов, как ученики — Христа, своим авторитетом, личными достоинствами, красноречием, гостеприимством пропагандируя грузинскую поэзию, умножая ряды любителей поэзии. Такими были Симон Схиртладзе, Шалва Деметрадзе, Кита Херхеулидзе и многие другие. Подобных им духовных братьев и меценатов сейчас нет. В наши дни невозможно представить себе такую фанатичную любовь к поэзии. Хочу сказать еще вот о чем. В последнее время у нас с растущей неприязнью относятся к культу тамады за его диктаторские полномочия. Если будет упразднен институт тамады, грузинская поэзия лишится многих пропагандистов. Тамада — миссионер грузинской поэзии, а истинные духовные ценности нуждаются в миссионерстве и благотворительности. Екатерина Вторая была не только распутницей. Российская императрица была великой меценаткой. Она назначила высокую пенсию




Дени Дидро (гражданину другой страны!), выплатив ее золотом на 50 лет вперед, купила его библиотеку, не вывезя ни одной книги в Россию. Вот пример царской благотворительности! Большими меценатами были императоры Древнего Рима и римские папы, Фридрих Великий, Карл Великий, Медичи и Борджиа и многие другие. Грузинским бизнесменам пока очень далеко до их величеств, их святейшеств и их светлостей. Надеяться на наших меценатов можно в неблизком еще будущем.

В еще худшем положении находятся журналы, собирающие мало подписчиков, плохо раскупающиеся и не имеющие спонсоров. А ведь еще недавно журнал «Саундже» продавался из-под прилавка. Журнал этот был основан двадцать лет назад по инициативе Эдуарда Шеварднадзе. Издание подобного прсфиля — большое культурное достояние грузинского народа. Вообще следует отметить, что государственная забота о грузинской культуре — личностная потребность этого выдающегося политического деятеля. В свое время данные факторы значительно повысили резонанс и авторитет грузинского художественного сознания. Поэтому нас наполняет надеждой создание комитета спасения культуры под председательством Эдуарда Шеварднадзе. Комитет спасения культуры — залог спасения нации.

На страницах «Саундже» печатаются шедевры гениев мировой литературы. Благодаря «Саундже» богаче и масштабнее становится грузинское художественно-эссеистское мышление. Когда журнал оказался в катастрофическом положении, Гиви Гумбаридзе (тогдашний первый секретарь ЦК КПГ) положительно откликнулся на просьбу Союза писателей о передаче «Саундже» в ведение издательства ЦК, но директор издательства, выказавший себя большим католиком, чем папа римский, провалил это дело. Нынешний директор, Нодар Джавелидзе, взялся финансово поддерживать убыточный журнал, за что мы выражаем ему глубокую благодарность от имени грузинских переводчиков и писателей.

Давно уже царит разлад в нашей стране. Стар и млад привыкли бездельничать. Молодежь остыла к учебе и отодвинула в сторону книги за ненужностью. Жестокая действительность вместо книги вложила в их опустевшие руки автомат. Свирепствует насилие, безнравственность. Государство, религия, литература напоминают мне сейчас укротителя, которого пожрали собственные львы. Распущенность стала обычным явлением. Знакомый профессор рассказывал: молодые люди оста-



новили его на улице и потребовали сигареты. «Не курю я, ребята», — ответил профессор. «Не куришь? Ты что же, педераст?» — насмешливо бросили ему в лицо оскорбительную реплику. «Спасибо», — растерянно пробормотал побледневший старик. «Кушай на здоровье, родной», — издевательски захихикал самый младший и потрепал по подбородку человека, годившегося ему в деды. Почтенный профессор заболел от потрясения, его с трудом удалось вернуть к жизни. В Грузии всегда с уважением относились к старикам. Откуда пришло к нам это бесстыдство, это хамство?

Еще один вопиющий пример безнравственности — убийство в тбилисском зоопарке беременной оленихи (господам захотелось отведать шашлыков!). Кто совершил это варварство?! Конечно, неотесанный, невежественный чурбан. Человек, воспитанный на «Рассказе маленькой лани» Важа Пшавела, никогда не позволил бы себе такой жестокости.

Столь же привычными стали у нас равнодушие и непрофессионализм. Иногда газеты перепечатывают мои уже публиковавшиеся ранее стихи. И вот встречается со мной ~~какой~~ **поэт** (которому я не раз дарил свои книги), обнимает меня, целует и поздравляет с перепечатанным старым стихотворением. Так и хочется ответить ему: это старое-престарое стихотворение! Но мне неловко, и я молчу. А вот еще худший пример.

Несколько лет уже я являюсь редактором журнала «Саундже». Недавно останавливает меня на улице один мой седовласый коллега и озабоченно спрашивает: «Батоно Шота, почему вы нигде не служите, неужели не нашлось для вас какого-нибудь места?». Признаться, от изумления я буквально лишился дара речи. Склерозом он не страдает. Просто он писатель (нелегкое бремя!), не хватает ему еще быть читателем! Говорят, он все время ходил на митинги, проводившиеся и одной, и другой стороной. И там, и здесь его здорово трясли и дергали, но он все равно упорно ходил. К сожалению, немало у нас таких писателей, но, к счастью, их и читатели не знают. Оказывается, этот «глашатай эпохи» никогда не читал и даже не брал в руки журнал «Саундже». Беру на себя смелость утверждать, что этот «житель неба и земли» вообще не утруждает себя чтением наших журналов и газет.

Мы малочисленный народ, но писателей у нас, слава Богу, много, есть среди них и читающие писатели, и нечитающие.

— Несчастлива малая страна, изобилующая поэтами, —



утверждает философ одной большой страны. А я бы сказал, не очень счастлива большая страна, скудная поэтами.

Я как представитель малочисленного народа с детства завидовал многочисленным китайцам. «Будь нас столько же, сколько китайцев, — мечтал я, — каким непобедимым, каким прославленным народом были бы мы во всем мире. Мы имели бы не менее ста таких поэтов, как Руставели, сотни и сотни Бараташвили, Чавчавадзе, Важа Пшавела, Галактионов... сотни Палиашвили, сотни Гудиашвили...» Сейчас в маленькой Грузии несколько десятков партий с общими целями и устремлениями. Интересно, если бы нас действительно было, как китайцев, более одного миллиарда, сколько партий действовало бы в нашей стране? Но тогда мы, вероятно, сформировались бы как нация с иной психикой, иным духовным обликом. Раньше говорили: Грузия — страна поэтов, в Грузии поэты царствуют, а цари слагают стихи. Сейчас говорят: Грузия — еще и страна политиков, где поэты — политики, а политики — поэты, и те и другие царствуют без венца и без престола.

У грузин преувеличенное представление о себе, о грузинских делах, обо всем грузинском. В нас глубоко укоренилось сознание нашей избранности, уникальности наших национальных достоинств. Львиная доля заслуг в утверждении этих преувеличенных представлений принадлежит грузинской поэзии. Наша патриотическая лирика чересчур романтически-мажорна, чрезмерно панегирична, как грузинские здравицы.

А между тем, кто отвернулся от Господа? — Грузины.

Кто разрушает свою страну, кто убивает своих братьев? — Грузины, и только грузины.

Кто похищает детей?

Кто разрывает могилы?

Не далее как вчера в Грузии были выдвинуты требования деидеологизации и департизации, а сегодня писателей уже подвергают нравственному террору за свободное высказывание своих мыслей. Дом писателей обстреляли из автоматов. И наконец «газават» против литературы увенчали сожжением книг.

Да, в Грузии, стране древнейшей письменности, сожгли книги! Сожгли публично, всенародно, демонстративно, с ликованием. Не довольствуясь этим, присовокупили циничное глумление, подленькие смешки: больше половины книг не сгорели, в них, видите ли, было слишком много воды. Такого варварства после средневековой инквизиции и германского фашизма



никто не совершал. Грузины же сделали это, и больше из стремления покуражиться, показать себя, чем из ненависти к авторам. Бабушки привели внучат и велели им своими невинными ручонками бросать в огонь «грешные» книги. Неужели, Господи, эти дети когда-нибудь сумеют оценить книги, литературу?

В этих книгах не было ничего, кроме любви к свободе, хвалы героям, павшим за отечество:

«Не убий».

«Не укради, не грабь».

«Не лишай жизни брата своего из-за джинсов».

«Не убивай оленя в зоопарке ради шашлыка».

«Не прыгай в ладью правителя».

«Люби язык свой, веру свою, отечество свое». Вот что было писано в них.

Да, в Грузии сожгли книги!

Братья писатели!

Дорогие библиотекари, дорогие читатели, не падайте духом!

Книги жгли не читатели, их жгли нечитатели! Книги, литературу ценят только просвещенные люди.

— Кто не читает, тот не мыслит, — говорил Дени Дидро.

Но история помнит и другие примеры.

В старину в Грузии «Витязя в барсовой шкуре» давали в приданое невесте. Великого царя Давида Строителя в походах неизменно сопровождал караван, груженный книгами. В XI веке Георгий Мтацминдэли повез на Афонскую гору 80 мальчиков-сирот из Картли, чтобы вырастить из них книжников.

Книгу ценили и уважали с древнейших времен.

«Книга — лекарство для души» — такая надпись украшала двери библиотеки Рамзеса II. Египетский фараон вовсе не подразумевал лечение душевнобольных. Но душевнобольных не излечить и сожжением книг. Антоний преподнес в дар Клеопатре 200 тысяч книг, чтобы завоевать ее сердце.

«...Когда мы прибыли на фронт, — вспоминает Джон Рид, — из окопов показались измученные голодом солдаты. Сквозь изодранные шинели выглядывало посиневшее голое тело. — Что принесли почитать? — спросили они нас».

Во время войны на подступах к Берлину в окопах часто находили убитых безбородых юнцов с учебниками древнегреческого и латыни в руках. Вот какая нация создала, создает и создаст в будущем великую культуру, великую цивилизацию.

Да, грузины сожгли книги... Сегодня грузины не хотят

ни читать книги, ни работать, тем более не хотят быть простым рабочим или крестьянином.



По субботам и воскресеньям я часто прогуливаюсь в окрестностях озера Лиси, пытаюсь отдалить подступающую старость и развеять горестные мысли. Вокруг негрузинское население выращивает на своих участках разнообразные овощи и потом продает их на рынках, конечно же по дорогой цене, косит траву на склонах, ставит стога.

— А где же грузины?

— Грузины на митингах! Или в приемных больших людей — выпрашивают должность повыгоднее.

В недавнем прошлом много обвинений, несправедливых и абсурдных, раздавалось в адрес писателей:

— Кто не с нами, тот наш враг!

— Настоящие писатели покоятся на горе Мтацминда!

Оба обвинения — по существу две стороны одной медали.

Первое — демагогическая формула, отмеченная печатью сектантства и фанатизма. Это — визг слабых и неправых.

Второе — цинизм нечитателей, то есть незнаек.

Настоящие писатели покоятся на Мтацминда, бесстыдно заявляли они, как будто бы действительно были в состоянии отличить настоящих писателей от ненастоящих. Дорогие наши судьи! Где вам было, в эпоху страшных катаклизмов, читать лжеписателей и писателей истинных! Многие писатели действительно не ходили на митинги, их, вероятно, не привлекала митингомания, но вся наша литература — знаменосец национального движения. Это не преувеличение. Конечно, хорошо, если писатель еще и оратор, но трибуна писателя, его баррикады — письменный стол.

Франция, как явствует ход истории, классическая страна больших революционных традиций и великой литературы. Французы отлично знают цену революциям и литературе, учить их не надо. Так вот, специальным указом революционного Конвента поэт, вышедший на баррикады, карался смертной казнью. Исторические катаклизмы — более завоевания пера, чем меча, ибо сперва льются чернила, потом кровь, а потом снова чернила. Прячут руки, запачканные кровью, но не чернилами. Руками, запятнанными кровью, побуждаемый ненавистью писатель ничего не сможет написать. Вот почему французские революционеры грозили эшафотом своим поэтам.

Кстати, на митингах было больше горе-патриотов, чем действительно патриотов. Пуля таких горе-патриотов оборвала жизнь великого сына Грузии, покоящегося на горе Мтацминда.



Грузинская поэзия всегда звучала и звучит ныне как колокол во имя пробуждения национального самосознания. Благодаря грузинской поэзии грузин никогда не чувствовал себя рабом. Но грузины до сих пор не создали ни одного фундаментального теоретического труда о сущности свободы. Что есть свобода вообще и, в частности, национальная свобода? Если у народа нет собственного учения о свободе, готова ли такая страна стать до конца свободной?

Я уже говорил, что грузинская поэзия немало повинна в раздувании грузинского феномена. Часть этой вины, разумеется, лежит и на мне. Боже мой, сколько гимнов, сколько песен сложил я, славя в романтических тонах избранность грузин, изображая все грузинское в монументальных образах. Да, я слепо любил все грузинское, все родное.

Трагически прекрасна история Грузии, сказочно красива ее природа, каждый грузин — цитата этой истории и природы. Если не в каждом грузине, то, во всяком случае, в душе каждого грузинского поэта триумф Дидгори противостоит трагедии Крцаниси, в каждом грузине сидит, как суфлер, Иоанэ Зосиме, нашептывающий ему «Хвалу грузинскому языку». В отроческих снах являлись мне обезглавленный Паата, злосчастный богатырь Георгий Саакадзе, арагвинцы в кольчугах, братья Херхеулидзе, царица Кетэван с отрезанными грудями, книжники афонцы, Дмитрий Самопожертвователь, отец Иоанн, отправившийся на поиски испанской Иберии, много других героев и святых. Нигде в истории больших народов не встречал я героев, равных Цотнэ Дадиани и Тэвдоре. Много великих народов исчезли с лица земли, мы же спаслись, и не только благодаря покровительству Пресвятой Божьей Матери, спаслись и донесли до нашего времени наш язык, веру, письменность. Один из четырнадцати алфавитов, созданных человечеством, — грузинский. И я был одурманен историей Грузии, грузинской природой. И я воспевал этих героев и святых, воспевал и их потомков. Я считал большой несправедливостью судьбы родиться не грузином, поэтому был горд и самолюбив, поэтому и стихи мои получались преисполненными гордости. Да, мы слишком много брали на себя, слишком отрывались от земли, от реальности. Причина этого, — поэтический экстаз, грузинский темперамент, романтическая натура.

Творчество моего поколения перемалывалось гигантскими идеологическими жерновами, но все же мы насыщали грузинское художественное сознание недурно испеченным духовным хлебом.

Чем же все-таки прикрывалась, где пряталась вся эта скверна, эта порочность, которая лезет сейчас из каждой щели, как сорная трава? Где она пряталась? Неужто в тостах, в здравицах? Где были тогда мои стихи? Соловьями сидели на заздравных кубках и устах тамады.

Соловей, как известно, поет, закрыв глаза, и поет так самозабвенно, что не услышит, если возле его уха выстрелит пушка (так утверждают ученые). И именно тогда этот певец природы становится жертвой хищника. Из всей этой метафоры меня касается только пение с закрытыми глазами, я не так дерзок, чтобы сравнивать себя с соловьем.

На фоне нынешних событий мой мажорный глас кажется мне телячьим восторгом, мои панегирические стихи стали мне чужды. Вероятно, в этом заключается абсурдная философия отчуждения. Но всякая философия, как уверяет Гельдерлин, это лазарет для неудачливых поэтов. Я не философ и не считаю себя неудачником, но одно знал так же хорошо, как философы: маленькому народу время от времени требовался бодрый, бравый глас, чтобы тесно сплотиться и быть готовым к любым испытаниям.

По убеждению Достоевского, красота спасет мир. Ныне эта формула претерпела градацию. Мир спасет не красота, — говорят философы нового времени, — а добро, добро — та же красота, но красота духовная, то есть другая сторона медали. Здесь возникает вот какой вопрос: кто спасет красоту, кто спасет человечество в это апокалипсическое время? Красоту спасет только народ-творец, создающий красоту, создающий изобилие и творящий добро.

Грузинский ген — феномен большой творческой силы. Это не поэтическая гипербола, это историческая реальность. В «Витязе в барсовой шкуре» задолго до европейского Ренессанса провозглашены идеалы свободы и гуманизма. У грузинского народа довольно силы и энергии, чтобы рождать жрецов добра и красоты.

Грузинский народ должен утвердиться на карте мира своими традициями, культурой, литературой и искусством.

Пора грузину снова взять в руки книгу.

Автомат — врагам!

Мы в ответе за все, что случилось с нами вчера и позавчера, за все, что случится с нами завтра и послезавтра. Пророческими оказались слова Григола Робакидзе: «Враг грузинского народа — сам грузинский народ!».

## ПОЛИТИКА

31 ИЮЛЯ 1992 ГОДА — одна из знаменательных дат в истории Грузии. В этот день в Нью-Йорке на заседании сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций Республика Грузия была единогласно избрана полноправным членом ООН. В заседании сессии принимал участие министр иностранных дел Грузии г-н Александр Чикваидзе. На заседании сессии, которое состоится в конце сентября, назначено выступление Председателя Госсовета Грузии г-на Эдуарда Шеварднадзе.

4 августа в ознаменование вступления Республики Грузия в Организацию Объединенных наций в Тбилиси на площади Республики состоялся многотысячный митинг, вылившийся в настоящий народный праздник. Митинг открыл мэр города Тбилиси г-н Отар Литанишвили. 31 июля было объявлено Днем национального примирения, который отныне будет отмечаться ежегодно. Патриарх Всея Грузии Святейший и Блаженнейший Илия Второй сотворил торжественную молитву и благословил Грузию и ее народ. Г-н Эдуард Шеварднадзе огласил текст Манифеста Госсовета, принятого в связи с вступлением Грузии в ООН. Манифест представляется нам весьма важным и значительным документом, определенной вехой на пути Грузии к подлинной демократии. Публикуем его текст полностью.

Необходимым сочли мы публикацию еще одного документа — Памятной записки «О событиях в Абхазской автономной республике».





# МАНИФЕСТ ГОССОВЕТА РЕСПУБЛИКИ ГРУЗИЯ

Граждане Грузии!

Грузинская государственность достигла знаменательной вехи. Республика Грузия стала полноправным членом Организации Объединенных Наций. Мировое сообщество признало Грузию, увенчав своим признанием ее независимость. Сложилась благоприятная международная обстановка для строительства свободной, демократической страны. Завершился один, главный этап борьбы за национальную независимость.

Отведена угроза пагубного изоляционизма, избавиться от которого было заветной мечтой многих поколений. Во имя этого жертвовали собственной жизнью многие достойные сыны Отечества. Их души сегодня торжествуют вместе с нами.

Членство в большой семье цивилизованных наций — это не только награда за вклад, внесенный Грузией в сокровищницу мировой культуры, не только твердая гарантия осуществления суверенных прав страны, но и подтверждение нашей приверженности принципам, которыми живет современный мир. Грузия вступила в новое нравственное, правовое, политическое, экономическое пространство, где действуют качественно иные порядки, требования, нормы и измерения.

Верность этим нормам как внутри страны, так и за ее пределами возлагает на Грузию большую ответственность. В мировом сообществе Грузия не сможет занять достойное место как нация и демократическое государство, если не будет упорядоченным политическим организмом.

Целостность страны, ее единство — вот ключ приобщения к современной и будущей цивилизации.

Настал новый этап государственного строительства, основной смысл которого — объединение Грузии, утверждение в стране гражданского согласия. Новый порядок требует достижения национального согласия без крови и жертв, огня и меча, преодоления разброда и смуты. Идя к этому, Грузия заявит об окончательном разрыве с замшелыми нормами и представлениями прошлого, станет достойным творцом современной истории.

Для утверждения в стране гражданского мира и национального согласия, защиты общегосударственных интересов и обеспе-

чения демократического созидания власть Республики Грузия все-народно ПРОВОЗГЛАШАЕТ:

— День 31 июля — Днем национального согласия, гражданского и международного мира и примирения.

— Считать патриотическим долгом каждого гражданина Грузии, выражением его решимости внести свой вклад в строительство государственности в Грузии участие в парламентских выборах 11 октября, от которых во многом зависят дальнейшие исторические судьбы страны, мера ее ответственности перед миром и международный авторитет.

В этот трудный для нации и страны час мы призываем всех находящихся за рубежом соотечественников оказать Грузии поддержку и сотрудничать с нею во имя возрождения Матери-Родины.

— Для согласования общегосударственных и местных интересов, развития всех регионов страны и их непосредственного участия в государственном управлении обеспечивается представительство всех районов и городов в верховном органе власти, предусматриваются свободные демократические выборы органов местного самоуправления.

Грузия вновь подтверждает свою приверженность общепризнанным нормам международного права, гражданским и политическим правам человека, провозглашает и обеспечивает свободу создания политических партий и ассоциаций, проведения собраний, митингов, демонстраций, свободу слова, печати, выражения собственного мнения сообразно с требованиями общественной безопасности, правопорядка и нравственности. Будут пресекаться действия таких политических сил, которые создают вооруженные формирования, разжигают межнациональную рознь, прибегают к силовым методам.

— Отменяется чрезвычайное положение на всей территории Грузии. Борьба против посягательств на жизнь человека, его здоровье, свободу, честь и достоинство, имущество — первейший долг власти. С этой целью будут обеспечиваться надлежащие условия для деятельности национальной полиции. Грузинская полиция несет полную ответственность за общественный порядок на всей территории страны.

Все вооруженные формирования объединить в единые Вооруженные Силы Республики Грузия, подчиненные Министерству обороны и командованию внутренних войск, Укрепить службы гражданской обороны. Категорически запретить создание и деятельность всех прочих вооруженных формирований.

— Членам действующих в регионах незарегистрированных во-



енных отрядов предоставить возможность с учетом их лояльности по отношению к властям объединиться в подразделения Министерства обороны, внутренних войск и полиции, провести регистрацию или сдачу принадлежащего им оружия.

Те лица, которые не войдут в государственные формирования, освобождаются от ответственности за совершенные ранее правонарушения (это не касается тяжких преступлений, совершенных против мирного населения) и вернутся к семьям и мирному труду. Незамедлительно выполнить решение властей Грузии о возвращении всех вооруженных формирований в места своей дислокации.

Служба в Вооруженных Силах Республики Грузия — почетный долг.

Руководствуясь высшими интересами национального единства и согласия, освободить от уголовной ответственности лиц, которые с 6 января текущего года принимали участие в противозаконных акциях, направленных против власти Республики Грузия, если ими не совершены тяжкие уголовные преступления в отношении мирного населения.

— Освободить из мест заключения представителей бывших властей, обвиняемых в совершении тяжких преступлений, принимая во внимание, что их деяния в определенной мере были обусловлены авторитарным, диктаторским режимом.

Несмотря на совершенное перед страной и народом тягчайшее преступление, освободить от уголовной ответственности лиц, которые 24 июня текущего года участвовали в авантюристической попытке государственного переворота.

— Отныне, провозгласив настоящим Манифестом акты великодушия, государство гарантирует, что каждый гражданин, который нарушит Закон и попытается применить силу против существующей власти, посягнет на жизнь, здоровье, честь, достоинство и собственность личности, будет наказан по всей строгости закона.

— Власти предполагают, что лица, захваченные в качестве заложников теми или иными политическими силами, будут немедленно освобождены ими. Вместе с тем общество решительно осуждает факты незаконного лишения людей свободы, какими бы целями это не было продиктовано.

— Образована правительственная комиссия, которая изучит факты насилия и других незаконных действий вооруженных формирований, направленных против мирного населения. Преступники будут наказаны, а причиненный ущерб — возмещен.

— Память павших в борьбе за независимую, демократическую

Грузию и во внутренних вооруженных конфликтах будет увековечена, составлен план оказания их семьям материальной помощи, о чем общественность будет должным образом информирована.

— Продолжится конструктивный диалог с властями Абхазии о разделении компетенций для установления прочных государственно-правовых отношений в пределах единой Грузии.

Будут доведены до конца миротворческие мероприятия, начатые в Цхинвальском регионе, что должно обеспечить прекращение кровопролития и восстановление порядка и гражданского мира в этом регионе.

Руководствуясь интересами единой Грузии, власть и впредь будет проявлять заботу об упрочении правового положения национальных меньшинств в Грузии в соответствии с признанными нормами и принципами международного права.

— Население и органы местного управления и правоохранительные органы не допустят совершения на их территории диверсионных и террористических актов, обеспечат бесперебойную работу железнодорожного и автомобильного транспорта, связи, народного хозяйства, учреждений просвещения, здравоохранения, туризма и курортов.

— Власти Грузии считают необходимым разрабатывать и осуществлять важнейшие гражданские, политические, социальные, экономические мероприятия при полном соблюдении принципов гласности и всестороннем учете общественного мнения.

Органы местного управления и должностные лица обеспечат бесперебойную подачу населению достоверной информации.

— Будут созданы возможности и условия для развития свободных экономических зон как в Западной, так и в Восточной Грузии.

Требую от руководства городов, районов, сел, поселков всенародного обсуждения путей к осуществлению предусмотренных настоящим Манифестом мероприятий, власти Грузии выражают надежду на то, что в этих процессах скажут свое веское слово Всегрузинская Православная Церковь, другие конфессии и религиозные объединения.

Граждане Грузии!

Продиктованный высшими интересами Грузии настоящий Манифест удостоверяет всенародное стремление к утверждению принципов великодушия и гуманности, силы и жизнестойкости грузинской государственности.

Да хранит нас Бог!

Тбилиси

4 августа 1992 г.

Председатель Госсовета  
Республики Грузия  
ЭДУАРД ШЕВАРДНАДЗЕ

ПАМЯТНАЯ ЗАПИСКА:

## „О СОБЫТИЯХ В АБХАЗСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКЕ“

**14** августа 1992 года в соответствии с решением Президиума Государственного совета Республики Грузия Вооруженные Силы республики провели частичную передислокацию по ее территории.


Необходимость этой меры была продиктована следующими причинами и обстоятельствами:

1. Единственная железнодорожная магистраль, связывающая Грузию и Армению с Россией и другими странами СНГ, оказалась блокированной диверсионно-террористическими группами сторонников экс-президента Гамсахурдиа. Действуя на территории Западной Грузии и Абхазии, по которой проходит большая часть магистрали, они фактически парализовали ее работу, лишив республику жизненно важной для нее артерии. В результате взрывов мостов, железнодорожного полотна, других объектов и сооружений, хищений из составов причинен ущерб в 12 миллиардов рублей. В соседнюю Армению не поступили предназначавшиеся для нее грузы, стоимостью в 6 миллиардов рублей.

2. Базирующиеся в Западной Грузии и Абхазии банды совершили в Тбилиси и других городах террористические акты, унесшие жизни многих мирных граждан. 24 июня с. г. они захватили здание Телерадиодепартамента в Тбилиси, предприняв попытку вооруженного государственного переворота. 9 июля с. г. ими был похищен вице-премьер правительства Грузии Сандро Кавсадзе, ведавший вопросами международных отношений и прав человека. По имеющимся у нас сведениям, он находится в заключении на территории Абхазии.

11 августа с. г. одна из этих банд в г. Зугдиди совершила нападение на правительственную делегацию, прибывшую в регион для ведения мирных переговоров на основе положений Манифеста о национальном примирении и согласии, принятого





Государственным советом Республики Грузия 4 августа. Министр внутренних дел республики Р. Гвенцадзе, помощник Председателя Государственного совета по вопросам национальной безопасности Д. Саларидзе и другие лица были захвачены бандой и доставлены на базу, также расположенную на территории Абхазии.

3. Начиная с момента своего образования, Государственный совет Республики Грузия осуществляет политику, основанную на принципах общенационального и межнационального диалога и компромисса. Не упоминая здесь об усилиях по мирному урегулированию грузино-осетинского конфликта, скажем о том, что было проведено четырнадцать встреч с руководителями групп сторонников экс-президента и заключено столько же соглашений. Все они были вероломно нарушены. Стало совершенно очевидным, что все эти акции, препятствуя процессу политической стабилизации в Грузии, имеют целью срыв выборов в парламент, назначенных на 11 октября этого года, и нарушение обязательств, взятых руководством республики перед своим народом и мировым сообществом.

Исчерпав арсенал средств мирного решения всех этих проблем, власти республики оказались вынуждены использовать предоставленные им законом права для пресечения деструктивной деятельности.

4. По достигнутой ранее договоренности между руководством Республики Грузия и Абхазской автономной республики абхазские власти обязались пресекать деятельность преступных незаконных формирований, действующих на ее территории; своими силами обеспечивать безопасность на железнодорожных и автомобильных магистралях, защищая их от диверсионных актов.

Это обязательство не было выполнено.

Руководство Абхазской автономии было уведомлено о вводе подразделений Вооруженных Сил Грузии в пределы Абхазии, являющейся составляющей и неотъемлемой частью территории Республики Грузия. Были разъяснены цели и задачи этой меры, предложены взаимодействие и сотрудничество.

В ответ был взорван мост через реку Ингури, возникла угроза уничтожения моста, связывающего Грузию с Россией. Абхазская национальная гвардия, сформированная на мононациональной основе, открыла огонь по подразделениям грузинской армии.

Все это явилось закономерным итогом политики, осуществляемой некоторыми руководителями Абхазии, в первую

очередь — Председателем Верховного Совета автономной республики Владиславом Ардзинба. Воспользовавшись сложной ситуацией, в которой оказались власти Грузии, вынужденные одновременно решать множество проблем, связанных с урегулированием конфликта в Цхинвальском регионе и отпором деструктивным силам, он вел дело к отторжению Абхазии от единого грузинского государства. В этом ему на руку был дискриминационный избирательный закон, позволивший игнорировать волю и мнение большей части избирателей Абхазии и проводить выгодные ему решения. Член небезызвестной группы «Союз», В. Ардзинба пользовался и пользуется поддержкой тех реакционных сил в России, которые стремятся остановить курс демократических преобразований и повернуть дело вспять. В то же время все действия и поступки спикера абхазского парламента объективно смыкаются с антинародной деятельностью сторонников экс-президента.

Характерный пример. Вознамерившись незаконно сместить с поста неугодного министра внутренних дел Абхазии, он приказал подчиненному ему батальону абхазской гвардии атаковать здание МВД. По странному совпадению штурм был назначен на 24 июня — день, когда сторонники экс-президента предприняли попытку государственного переворота, захватив в Тбилиси здание Телерадиодепартамента. Занятый организацией восстановления порядка в столице республики и ликвидацией мятежа, Председатель Государственного совета позвонил в Сухуми и попросил главу абхазского парламента не предпринимать этого шага, возложив всю полноту ответственности за его последствия на В. Ардзинба.

Тем не менее этот шаг был сделан, очевидно, с расчетом на то, что противники новой грузинской власти достигнут намеченной цели. Здание МВД было взято штурмом, министр подвергся физическим и иным оскорблениям, оказался на больничной койке. Итог — резко обострившаяся политическая ситуация в Абхазии и вокруг нее, усложнившиеся до предела межнациональные отношения.

Во время поездки по Турции В. Ардзинба неоднократно высказывался в том смысле, что еще ни одна страна не добивалась независимости конституционным путем, что у Абхазии достаточно оружия, чтобы «завоевать свободу», что на помощь ей готовы прийти «определенные силы».

Провоцируя подобным образом новый конфликт в республике и регионе, Председатель абхазского парламента и его окружение предприняли 27 июля вопиющий, с правовой точки

зрения, шаг — восстановили действие Конституции Абхазии 1925 года, что фактически означает самоупражнение автономии, пересмотр существующих границ Грузии и откол от нее части ее территории.

В этом нонсенсе беспрецедентны не только пренебрежение нормами права и морали, но и сам образ действий.

Решение о восстановлении действия конституции 1925 года усеченный Верховный Совет Абхазской автономной советской социалистической республики принял простым большинством голосов.

Поправки к конституции, а тем более отмена действующего Основного Закона, установление нового государственного строя могли быть сделаны только двумя третями голосов членов действующего парламента. Таким же большинством голосов должно быть принято решение о вынесении подобных вопросов на референдум. Все это записано в Конституции Абхазской АССР и соответствующих законах.

Если же учесть, что избирательный закон, на основании которого был сформирован действующий парламент, 28 мест предоставил абхазам (18 процентов населения), 26 — грузинам (46 процентов населения) и 11 — представителям других национальностей, станет ясно, что вышеуказанное решение лишено как юридического, так и морального основания и представляет собой попытку завершения процесса узурпации власти и установления моноэтнической диктатуры.

Мы уже не говорим о том, что попытка реанимировать конституцию 1925 года, которая, кстати, никогда не вступала в действие, игнорирует тот факт, что создание т. н. договорной Республики Абхазии, связанной через Грузию с уже не существующей Закавказской федерацией, являлось одним из звеньев национальной политики большевизма, насаждавшего в аннексированной, но формально суверенной Грузии полугосударственные образования, могущие при необходимости стать инструментом подрыва территориальной целостности Грузии.

Теперь эти и подобные им «мины замедленного действия» срабатывают, причем не только в Грузии. Во многих странах, образовавшихся на территории бывшего Союза, вспыхивают внутренние конфликты, корни которых уходят глубоко в почву тоталитаризма, подпитываемую его сегодняшними приверженцами. Различаясь по внешним обстоятельствам, все эти конфликты имеют общую «драматургию» и «режиссуру». И все они в равной степени, складываясь в единую цепь опоясываю-

щих регионы взрывных ситуаций, угрожают международному миру и безопасности.

Новый очаг конфликтности, разожженный в Черноморском регионе, грозит подрывом усилий расположенных здесь государств, направленных на создание региональной системы сотрудничества и безопасности.

Констатируя этот факт, мы заявляем о своей решимости загасить конфликт в самом начале.

Памятная записка распространяется пресс-службой Государственного совета Республики Грузия по поручению его Президиума.

17 августа 1992 г.



Нонна ЭЛИЗБАРАШВИЛИ

## НЕМЕЦНИЕ ХУДОЖНИКИ В ГРУЗИИ

(XIX—НАЧАЛО XX ВВ.)

**В** многовековой и разноликой культуре народов Кавказа оставили заметный след и немцы. Однако, начиная с 1920-х годов, а в особенности после выселения немцев с европейской части СССР в 1941 году, тщательно замалчивалось, уничтожалось все, что говорило об их присутствии, общественной, культурной жизни и взаимосвязях с кавказскими народами. Изгонялась даже сама память об этом. Может быть, поэтому до сих пор не существует научного исследования о появлении и существовании немецких колоний в Закавказье, об их роли в развитии экономики и культуры этого края.

А между тем, вклад этот был значителен.

Первые немецкие колонисты-земледельцы появились в Закавказье, по одним данным, в 1816—1817 годах, по другим — в 1818—1819. Немцы — выходцы из Виртенберга, не предполагали оставаться в Закавказье. Представители особой реформатской секты, исповедующей хилиазм, они в 1817 году собирались, пройдя через Закавказье, добраться до Иерусалима и там ожидать, согласно своему религиозному учению, пришествия Спасителя. Убедившись в непроходимости горных дорог Курдистана, они решили остаться в Закавказье и поселились в Тифлисской и Елисаветпольской (ныне Гянджа) губерниях, основав колонии: Александердорф, Елисаветталь, Мариенфельд, Куки, Петерсдорф, Екатериненфельд, Еленендорф, Анненфельд и др.

С основанием этих поселений в Германии растет интерес к новым местам и народам, их населяющим. Все большее число немецких ученых и путешественников стремится посетить

Кавказ, чтобы исследовать этот край и сделать достоянием широкой общественности полученные сведения. Первым по времени можно считать исследование академика Гильгенштедта «Географическое и статистическое описание Грузии и Кавказа из путешествия через Россию по Кавказским горам в 1770—1773 гг». Этот труд был издан в Санкт-Петербурге в 1809 году. Именно с него начинается серьезное изучение края. Вслед за ним путешествовали по Кавказу Рейнегс, Гмелин, знаменитый Паллас, Гакстаузен и другие.

Особенно значителен вклад в исследование истории и культуры Кавказа тех ученых, которые избрали Грузию своей второй родиной. Например, Вейденбаум Евгений Густавович, член Кавказского Общества истории и археологии, автор статей и заметок по археологии Грузии, печатавшихся в «Известиях Кавказского отдела Русского Географического Общества», создатель «Путеводителя по Кавказу». Необходимо упомянуть также К. Ф. Гана, издавшего «Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа» (1884) и Вейса фон Вейсенгофа, занимавшегося историей сельского хозяйства на Кавказе. Пожалуй, самый весомый вклад в научное исследование флоры и фауны Кавказа, а также в изучение этнографии народов, его населяющих, внес Густав Иванович Радде (1831—1903). Естествоиспытатель, этнограф, путешественник — он очень много сделал для пропаганды истории и культуры края. В частности, ему принадлежит честь воссоздания Кавказского музея: благодаря настойчивости и энергии Радде, музей в 1865 году пополнился новыми материалами, собранными им в его путешествиях по Грузии.

Ученые труды географов и путешественников, а также интенсивный культурный обмен между Грузией и Германией привлек внимание художников к этой стране. Для немецких художников Кавказ с его вольнолюбивыми племенами, отстаивавшими в неравной борьбе свою независимость, был последним прибежищем романтической вольности в Европе.

Искренне был увлечен Кавказом талантливый ученик Мюнхенской Академии художеств Теодор Горшельд (1829—1871). В 1858 году он добился разрешения принимать участие в Кавказских походах и вплоть до 1863 года был активным участником военной кампании, став летописцем этих событий.

Творческое наследие художника оказалось чрезвычайно разнообразным: до 200 рисунков и акварелей художника хранятся в фондах Государственного музея искусств Грузии. С

Горшельдта берет начало традиция приглашать немецких художников для исполнения каких-либо заказных работ на Кавказе. После Горшельдта был приглашен немецкий живописец Пауль Франкен. В 1881 году две его картины были приобретены для Кавказского музея.

Для своих лекций в Вене и Германии — лекции были посвящены природе, климату и народонаселению Грузии — Густав Радде в 1873 году заказал иллюстрации по своим эскизам двум австрийским художникам: Августу Шефферу и Францу Зимму, которые исполнили 14 картин масляными красками. Знакомство Радде с Зиммом, который в начале 1870-х годов был учеником Венской Академии художеств, имело дальнейшее продолжение. Задумав украсить новое здание Кавказского музея фресками, Радде пригласил Зимма. Франц-Ксавьер Зимм (1853—1918) — ученик известного пейзажиста Фейербаха и знаменитого в Европе Ганса Маккарта, усвоил блестящую манеру последнего с его тягой к классицистическим сюжетам, овеянным легким флером романтизма. Эту склонность развило и отточило его пятилетнее пребывание в Риме, где Зимм тщательно изучал технику старых мастеров и грандиозные росписи Ватикана. Приняв предложение Радде, Ф.-К. Зимм вместе с женой, художницей Мари Зимм-Майер в 1881 году приехал в Грузию. Работа над росписями продолжалась довольно долго. В 1888 году художник завершил работу над росписью вестибюля музея, украсив его фресками «Прометей на скале», «Прибытие аргонавтов в Колхиду», «Язон и Медея в храме Гекаты», «Ной, сажающий виноградную лозу» и «Две амазонки на лошадях». В 1891 году фотографии с этих фресок были помещены в популярном журнале «Leipziger illustrierte Zeitung», что свидетельствовало об их признании в европейских художественных кругах. Однако местная демократическая общественность восприняла эту работу Зимма иначе. В газете «Тифлисский листок» за 1888 год некто, укрывшийся под псевдонимом Гео, писал: «Мы ничего не имеем против приглашения к нам первоклассных художников, если последние, подобно Горшельдту, полюбят нашу страну, будут жить ее жизнью, радоваться ее радостями и печалиться ее горем и приступят к передаче ее прошедшего и настоящего на полотне не ранее, как после глубокого изучения Кавказа и характеристических особенностей его пестрого населения...» Серьезное возражение автора статьи вызывало то обстоятельство, что сюжеты, избранные для росписей, не соответствовали «представлениям коренного населения о своем историческом прош-

лом, а навязывались ему извне, т. е. передавали европейский взгляд на историю местных племен, не соответствующий действительности...

К сожалению, судьба фресок оказалась драматичной: в связи со строительством нового здания музея, старое было разрушено. Погибли и фрески...

Самый крупный заказ для создававшегося в 1880-х годах военно-исторического музея «Храм Славы» был связан с именем Франца Рубо, ученика Мюнхенской Академии художеств, который привлек к работе своих коллег. Грандиозные по замыслу и по размерам 17 батальных полотен были написаны при помощи Рудольфа Отто Риттера фон Оттенфельда, известного ориенталиста и гравера, архитектора Рудольфа Густава Мюллера и Иоханна Леонхарда. Последний сопроводил Рубо в 1887 году в Тифлис, где им был написан ряд портретов для «Храма Славы». Заслуга Рубо состоит и в том, что он помогал местным молодым талантам получить профессиональное образование. Общеизвестна роль Рубо в судьбе грузинского художника Гуго Габашвили. Прирожденный педагогический дар помог Рубо разглядеть в этом молодом живописце истинный талант, и он постарался ненавязчиво помочь его развитию. Видимо, не без влияния Рубо выбрал Габашвили Мюнхен для завершения своего образования, где его старший друг и коллега продолжал опекать его, помогал конкретными советами, щедро делясь с молодым живописцем профессиональными тайнами.

Последним по времени среди приглашенных для работы в Грузии немецких художников был Макс Тильке, который считался крупным знатоком народного костюма, что, видимо, и послужило толчком для приглашения его на работу в Кавказский музей, где он служил в 1912—1913 годах. Макс Тильке, известный в первой четверти XX века как великолепный иллюстратор, снискал себе славу как исследователь и крупный знаток народной одежды и истории костюма. Разнообразие, красота и многоцветие одежды разноплеменного населения Кавказа настолько увлекли художника, что он подготовил серию зарисовок представителей разных народностей в их национальных костюмах. Материал, собранный Тильке за короткий период пребывания на Кавказе, послужил ему для издания книги «Orientalische Kostume in Schnitt und Farbe. Text und Tafelband». Berlin, 1926. Позднее, в 1938 году была переиздана созданная в 1910 году серия открыток Тильке «Костюмы народов Кавказа».



Помимо мастеров, приглашавшихся непосредственно из Германии, существовала и довольно обширная категория немецких художников — уроженцев Тифлиса, возвратившихся туда после получения образования в Германии или России. Среди них почетное место принадлежит архитекторам Билфельду, А. Зальцману, П. Штерну.

Менее известно о деятельности художников Оскара Шмерлинга, Рихарда Зоммера, Бенедиктины Шульц. Оскар Иванович Шмерлинг полностью посвятил свою жизнь и творчество Грузии.

Оскар Иванович Шмерлинг родился в 1864 году в Тифлисе в семье военного. Мать его была родной сестрой известного архитектора Альберта Федоровича Зальцмана, так что родственные связи способствовали и раннему развитию художественных интересов. Семья архитектора Зальцмана была одной из образованнейших и культурнейших семей Тифлиса, поэтому в том, что Оскар Шмерлинг выбрал себе профессию художника, ничего удивительного не было. В 1884 году он поступил на граверное отделение Петербургской Академии художеств. Видимо, талант молодого рисовальщика уже тогда был настолько ярким, что разборчивые петербургские журналы предоставили свои страницы для его рисунков и карикатур, которые появились в «Шуте», «Ниве» и в немецком журнале «Пипифакс».

Во время летних каникул в Тифлисе он познакомился с Рубо, что решило судьбу молодого художника: он отправился в Мюнхен для завершения своего художественного образования, избрав батальную живопись. В 1894 году он вернулся в Грузию, и с этого времени вся его жизнь и творчество неразрывно связаны с этой страной. Шмерлинг был вынужден заниматься преподаванием, чтобы иметь возможность материально обеспечить себя. Одновременно с преподаванием рисования в Закавказском девичьем институте он открыл и частную школу-студию. Добросовестный и чуткий, он оказался природным педагогом. Не случайно, что его ученики пользовались успехом даже на петербургских выставках, о чем свидетельствует заметка в журнале «Искусство и художественная промышленность» (за 1900/1901 г. № 3-4, с. 70), которая, упоминая об устроенной в Академии художеств выставке рисовальных школ, отмечает работы учеников частной школы О. Шмерлинга в Тифлисе.

Будучи всецело предан идее о необходимости художественного образования для местной талантливой молодежи, Ос-



кар Иванович возглавил с 1902 года художественную школу Кавказского Общества поощрения изящных искусств. Эта школа, просуществовав вплоть до 1918 года, послужила базой для создания Академии художеств Грузии.

Работоспособность его была поразительной: педагогическую деятельность он совмещал с работой в сатирических журналах. Еще до отъезда в Петербург, он печатал свои рисунки в выходившем в Тифлисе сатирическом журнале «Фаланга», пользовавшемся популярностью в 1880-х годах. Многие были сделаны О. И. Шмерлингом для утверждения и развития грузинской иллюстрации: с его рисунками знакомились малыши, впервые открывшие «Дэда эна» или детские журналы «Накадули» и «Джеджили». А взрослые не раз смеялись над острыми карикатурами, печатавшимися в армянском журнале «Хатабала», в азербайджанском «Молла Насреддин» и в грузинском «Эшмакис матрахи».

Внимательный и острый взгляд художника быстро схватывал смешные и столь характерные для старого Тифлиса бытовые сценки. В южном городе вся жизнь разноязыкого населения проходила на улице. С добродушным юмором рисует художник плутоватого уличного разносчика («Кинто»), уморительную серьезность, с которой цирюльник священнодействует над своим соседом-клиентом («В цирюльне»), нарочитую театральность, с которой обставлена процедура переноса приданого. Если его политические карикатуры бывали полны сарказма, то в серии акварелей «Нравы и обычаи старого Тифлиса» Шмерлинг проявил свой недюжинный талант умного и тонкого бытописателя нравов.

Многочисленные обязанности, постоянная погоня за заработком ограничивали творческие возможности художника, особенно в живописи, требовавшей спокойной сосредоточенности и полной отдачи. Тем не менее он продолжал писать картины, создавая полотна батального и жанрового характера («Битва», «Татары на кочевке», «Ночь в пустыне»). К сожалению, до сих пор не существует монографии о творчестве О. И. Шмерлинга, и многие факты его биографии остаются неизвестными. Такая грань его деятельности, как публицистические статьи по вопросам искусства, печатавшиеся в различных местных и петербургских изданиях, лишь подтверждает многостороннюю одаренность этого человека, внесшего значительный вклад в развитие современного грузинского искусства.

Большой популярностью в Тифлисе пользовался и Рихард Карлович Зоммер (1869—1939). Художник-этнограф и

путешественник, Зоммер большую часть своей жизни провел в поездках по Средней Азии и Ирану. Поступив в 1884 году в Петербургскую Академию художеств, он окончил ее в 1893 году со званием классного художника третьей степени и сразу же отправился в Туркестан, где в то время шли военные действия. Однако его привлекают не столько батальные сцены, сколько экзотический быт и костюмы азиатских народов: его зарисовки и живописные полотна с этнографической достоверностью фиксируют особенности одежды, оружия, конской сбруи и жилища кочевников. Поездка и непродолжительная учеба в Мюнхене лишь укрепили этот интерес к этнографии. В начале 1900-х годов Зоммер перебирается в Тифлис и активно включается в художественную жизнь города. С рядом местных художников он принял участие в создании Общества взаимопомощи Кавказских художников, организованного в 1905 году, участником выставок которого в 1907 и 1909 году он был. Художник объездил с этюдником Армению и Азербайджан, создавая портреты-типы, батальные и бытовые сценки, зарисовывая памятники архитектуры. Не забывал он и Туркестан, как тогда называлась Средняя Азия: в 1915 году он участвовал в туркестанской выставке в Ташкенте, здесь, в музее, и поныне хранится большинство его работ. Широкую известность Зоммеру, как художнику-баталисту и ориенталисту, принесло его участие в выставках Петербургского общества художников и Общества русских акварелистов.

Он был весьма плодовитым художником: во многих старых тбилисских домах до сих пор висят его картины, отличающиеся профессионализмом, хотя и несколько суховатые по манере исполнения.

Среди немецких художников, работавших в Тифлисе, есть несколько человек, представляющих загадку для исследователя. О них известно из упоминаний в газетах, журналах, выставочных каталогах, хотя местонахождение их работ остается неизвестным.

Вот, например, Турина-Мария Робертовна Лиандер, живописец и график. С 1880 по 1895 год она училась в Петербургской Академии художеств и получила право преподавать рисование в средних учебных заведениях. Из газетного объявления становится известным, что в 1909 году она имела частное художественное ателье в Тифлисе. Имя Лиандер встречается в каталогах выставки картин Общества взаимопомощи Кавказских художников в 1909 году и Кавказского

Общества поощрения изящных искусств в 1910 году, <sup>Далее</sup> следы ее полностью теряются.

Очень мало известно и о живописце и графике Константине Ивановиче Кёппене. Вольноприходящий ученик Петербургской Академии художеств в 1852 году он был отмечен серебряной медалью за картину «Сражение при Дебречине». Видимо, по окончании учебы он оставался в Петербурге: в журнале «Живописное обозрение» за 1879 год (№ 46) была помещена репродукция с его картины «Н. В. Гоголь на Невском проспекте», а в том же журнале за 1880 год (№ 31) публиковались сделанные им рисунки к стихотворению Н. А. Некрасова «Еду ли ночью...» Однако неизвестные нам обстоятельства заставили его перебраться в Тифлис, где в 1884 году он открыл частную рисовальную школу, просуществовавшую до 1893 года. Несмотря на наличие художественной школы Кавказского Общества поощрения изящных искусств, только школе Кёппена было предоставлено право посылать своих выпускников в Петербургскую Академию художеств для сдачи вступительных экзаменов. Это говорит о доверии Академии к педагогическому мастерству Кёппена и о высокопрофессиональном уровне постановки учебного процесса в его школе. Нехватка средств вынуждала художника преподавать и в общеобразовательной школе: в 1890 году он числится учителем рисования в Бакавказском девичьем институте и в Тифлисском женском учебном заведении святой Нины. Несмотря на такую нагрузку, художник выставлял свои произведения на художественных выставках Кавказского Общества поощрения изящных искусств в 1890 и в 1893 гг. Наряду с другими художниками он исполнил ряд заказов для Военно-исторического музея «Храм Славы». В основном, это были портреты и копии с портретов Дж. Доу из Военной галереи 1812 года Зимнего дворца. К сожалению, единственной известной нам работой К. И. Кёппена является огромный портрет Александра II, хранящийся в Гос. музее искусств Грузии.

Очень скудны сведения и о художнице Бенедиктине Николаевне Шульц: Гос. музей искусств Грузии располагает лишь небольшой жанровой картинкой, довольно слабой по исполнению, по которой, конечно, невозможно составить представление о творческих устремлениях художницы. Неясны и факты биографии Б. Н. Шульц. Известно, что в конце 1880-х—начале 1890-х годов она училась в Московском училище живописи, ваяния и зодчества у В. Д. Поленова. Затем, с 1895 года — преподавала рисование в Тифлисской 3-ей женской гимназии.



Ее работы появлялись на выставках Кавказского Общества поощрения изящных искусств в 1897, 1899, 1903 и 1904 годах. Помимо этого, она экспонировала свои произведения на выставках Общества вспомоществования кавказских художников в 1907 и 1910 гг. Последняя выставка с ее участием — это выставка художников-педагогов, состоявшаяся в 1912 году. Другими сведениями, к сожалению, мы не располагаем.

Все вышеперечисленные художники-педагоги, постоянно проживавшие в Тифлисе, своей педагогической деятельностью и творчеством оказывали определенное влияние на возникновение культурной среды и способствовали формированию художественного мировоззрения талантливой молодежи.

В 1918—1919 годах в художественной жизни Тифлиса принимал активное участие сценограф, живописец и график Александр Альбертович Зальцман, получивший художественное образование в Мюнхене. Ученик знаменитого Франца Штука, Зальцман был одним из тех рисовальщиков, чьи рисунки определяли лицо немецкого журнала «Югенд», давшего название новому художественному стилю европейского искусства — «югендстиль». Сын архитектора Зальцмана художник часто навещал своих родных в Тифлисе, а в конце 1916 года вернулся в родной город.

Обращение к различного рода аллегорическим мотивам, склонность к символике были характерными чертами творчества Ф. Штука и сказались на искусстве Зальцмана, на сюжетно-тематической стороне его творчества. Как и его учитель, он любил аллегории (серия картин «Времена года», «Осень», «Зима») или мифологические сюжеты («Флора», «Диана», «Минерва», «Орфей»). Одновременно он тяготел к театральным, маскарадным, карнавально-праздничным сюжетам. Композиции «Дама с зонтиком» и «Маркиза с арапчиком» — это своеобразные ретроспективно-театральные сценки, условность которых, неприкрытая ирония и легкий гротеск представляют их хорошо срежиссированными мизансценами какого-то грандиозного карнавально-театрального представления.

Устремления творческого мировосприятия Зальцмана привели его в театр, где с наибольшей полнотой выразился его дар декоратора: чувство стиля, знание особенностей быта, костюма и типажа разных исторических эпох.

Перебравшись в 1910 году из Мюнхена в Хеллерау близ Дрездена, Зальцман принял активное участие в создании и деятельности специальной школы, организованной швейцарским композитором и педагогом Эмилем Жаком Далькросом, где он

внедрил созданную им систему музыкально-ритмического воспитания (ритмическая гимнастика). А. А. Зальцман был постоянным консультантом далькрозовских постановок, декорации к которым создавались по его же эскизам. Далькроз умел заражать своим энтузиазмом окружающих. Вольф Дорн — один из меценатов, оказывавших ему поддержку, взял на себя расходы по строительству помещения для школы с зрительным залом и сценой особой конструкции. Зальцману было поручено разработать новейшую систему освещения этой сцены. Проблемы сценического освещения настолько увлекли художника, что он и в дальнейшем не бросал поисков в этой области и даже обобщил свои наблюдения и некоторые находки в статье «Замечания о сцене», помещенной в журнале «Театри да мусика» за 1919 год (№ 1, с. 16).

С 1917 по 1919 год он заведовал художественно-постановочной частью Тифлисского оперного театра. Им были оформлены и первые грузинские оперы: «Сказание о Шота Руставели» Д. Аракишвили и «Абесалом и Этери» З. Палиашвили. Премьеры их состоялись 5 и 21 февраля 1919 года, обе оперы шли в костюмах и декорациях А. Зальцмана. Отказавшись от традиционных приемов кулисно-арочного построения декораций, художник стремился к целостному решению всей постановки на основе гармонического единства цвета, линейного ритма, выразительной игры света. Очень пригодился ему опыт, полученный в совместной работе с Далькрозом.

Помимо работы в театре, Зальцман принимал активное участие в художественной жизни города: выставлял свои работы на выставках Кавказского Общества поощрения изящных искусств, принимал участие в выставках объединения художников «Малый круг», помещал свои статьи и рисунки в журналах, издававшихся в то время в Тифлисе («Театри да мусика», «Арс» и др.), занимался педагогической деятельностью. Среди художников, работавших в тот период, и Зальцман был довольно заметной фигурой. Интерес к его творчеству был значительным, т. к. его работы, отличавшиеся техническим мастерством и яркой индивидуальностью, были своеобразным выражением немецкого варианта стиля модерн, а в художественных кругах Тифлиса в этот период усилился интерес к этому направлению в живописи. Работа в театре наложила свой отпечаток на творчество художника. Он предпочитал работать темперой в широкой живописной манере, свободно передавая форму предметов цветом, а не обрисовывая ее кон-

туром. Так написаны «Натюрморт с тыквой», «Натюрморт с филокактусом» (оба датированы 1917 г.).

Присущая ему склонность к декоративизму проявилась и в его интересе к монументально-декоративной живописи. К сожалению, не сохранилась его роспись вестибюля бывшей Михайловской больницы, о которой известно из рассказов племянницы художника. Но зато ему можно с уверенностью приписать часть росписи фойе домашнего театра в бывшем доме М. Туманишвили (ул. Г. Табидзе, № 2). Это помещение было расписано С. Ю. Судейкиным, который с начала 1919 года находился в Тифлисе. Роспись представляла героев итальянской комедии масок (Арлекина, Пьеро, Капитана, Коломбину). Эти фигуры перемежались театральными масками, цветочными гирляндами и птицами, написанными в более утонченной и нарядной гамме, чем основные фигуры. Было высказано предположение, что соавтором С. Судейкина мог быть его друг О. Сорин, находившийся в Тифлисе одновременно с ним. Однако существуют факты, говорящие в пользу соавторства А. А. Зальцмана. В журнале «Арс» (1919, № 1, с. 75) были помещены заставка и концовка, сделанные Зальцманом и по сюжету чрезвычайно напоминающие роспись из дома Туманишвили, а именно ту ее часть, где цветочные гирлянды, виноградные гроздья и птицы скомпонованы в роскошный десюдепорт. Ладо Гудиашвили — свидетель событий художественной жизни того времени — утверждал, что именно Зальцман в соавторстве с С. Судейкиным участвовал в росписи фойе домашнего театра Туманишвили.

Много времени и сил отдавал Зальцман педагогической работе в школе живописи при Кавказском Обществе поощрения изящных искусств, где у него многому научились С. Валишевский, И. Карслян и М. Гоциридзе.

В начале 1920-х годов А. А. Зальцман по семейным обстоятельствам был вынужден переселиться во Францию. Сведения о его дальнейшей судьбе отрывочны и противоречивы.

Изучение деятельности немецких художников, как приглашавшихся, так и постоянно проживавших и работавших в Грузии, представляется необходимым и важным не только для выявления сложившихся в прошлом исторических и культурных связей, но и для осмысленного продолжения традиций художественных и культурных взаимоотношений, столь нужных народам в нынешнее непростое время.



Реваз ТВАРАДЗЕ

## ОТИА ПАЧКОРИА И ЕГО ДРУЗЬЯ

Отиа Пачкориа прежде всего был интеллектуалом и эстетом. Эти его качества проявились еще в ранней юности, до ареста, когда завсегдаим единственным клубом (или, если хотите, своеобразного салона) тогдашнего Тбилиси — проспекта Руставели знали Отиа в основном как «своего парня». А ведь завоевать имя «своего парня» было непростым делом, оно означало приблизительно то же, что и «добрый молодец» в поэтическом мире Важа Пшавела. Здесь же надо сказать, что опыт института «своего парня» спас Отиа и его друзей впоследствии, когда их, двадцатилетних юношей, судьба забросила в Сибирь. Но прежде, за год до этого, осенью 1947 года произошло весьма знаменательное событие: Отиа и его друзья, такие же, как он, интеллектуалы и эстеты, создали литературный кружок, и этот кружок получил прописку именно на улице Петриашвили, именно в доме Пачкориа (при тогдашней тотальной бесквартирности три просторные комнаты, которые занимала семья Пачкориа, казались настоящим дворцом).

Отчетливо помню первое заседание кружка. Сразу же разгорелся спор, как называть наш кружок — «Колокольня Грузии» или «Грузинская колокольня». То, что наше объединение должно было действительно выполнять роль колокольни, ни у кого не вызывало сомнения и в условиях тогдашнего закоснелого мышления, мертвой литературной жизни, возможно, и не должно было вызывать его, поскольку в кружок объединились действительно избранные личности. Настолько



избранные, что, закончив спор о названии своего детища, они немедленно углубились в интеллектуальные словопрения

— Как говорит Буало...

— Этого никто не утверждал до Ницше...

— Георг Вильгельм Фридрих Гегель...

— Фихте... Шеллинг... Шопенгауэр...

— Эта роль, на мой взгляд, принадлежит лорду Джорджу Гордону Байрону...

— Надо было прочесть сперва Иммануила Канта, «Пролегомены»...

— Гаутама Будда — Саккья Муни...

Нет, не скажу, что мы не любили щегольнуть иностранными авторами или иностранными словечками, мы, это наше теснейшее братство — Отиа, Арчил Сулакаури, Тамаз Чхенкели и я. Но сфера наших интересов включала преимущественно конкретные вопросы поэтики — рифму, метр, образ, сравнение... Тут на нас обрушился такой шквал информации, что большинство просто растерялось.

Придя в себя, я заметил, что спорят в основном двое, спорят яростно, ни на йоту не уступая друг другу. И хотя предмет спора был для меня абсолютно непонятен, я тем не менее догадался: истина интересовала спорщиков в меньшей степени. Главное для обоих было разгромить оппонента, на худой конец создать впечатление, что оппонент побежден.

Поняв это, я вздохнул с облегчением. И обратил внимание, как в течение этого яростного спора Отиа метался из угла в угол, отпуская время от времени язвительные реплики по поводу доводов, приводимых спорщиками, тем самым в какой-то степени остужая их пыл и разряжая общую атмосферу.

Одного из этих спорщиков уже нет в живых. Да пребудет его душа в мире! До конца своих дней он остался необыкновенным человеком. Будучи на последнем курсе аспирантуры (кажется, кандидатская диссертация была уже написана) бросил вдруг все и вся — и ограниченных руководителей, и коварных коллег-фарисеев, и свою блестящую, как многие полагали, научную карьеру — и занялся пчеловодством. Ему приходилось общаться и вести дела с простыми людьми, но при встрече с нами он любил с прежним пафосом поговорить о Буало или Будде.

Оглядываясь назад, я понимаю, что в те артистические минуты, ораторского всплеска оба представляли собой тогда не лишнее интереса зрелище (да и могли ли выглядеть по-

мному напичканные тяжелой интеллектуальной информацией девятнадцатилетние или двадцатилетние юнцы?!), глядя на них с расстояния прошедших десятилетий, сознаю, как дороги они мне оба. Но в то время я сам, будучи нетерпимым человеком, притом отчаянным индивидуалистом, не умел слушать других и не отличался особой снисходительностью, поэтому, когда на следующем заседании кружка почти в точности повторилась та же картина (снова наши два оратора вцепились друг в друга), я перестал посещать эти собрания. Тамаз Чхенкели выдержал еще несколько заседаний, а потом и он отошел от «Колокольни Грузии» или «Грузинской колокольни». Отна, даже если бы и хотел, не мог себе этого позволить — собрания проходили у него в квартире.

Потом случилось то, что сегодняшнему поколению, да и вообще всем, кому не довелось жить в то время, понять не так просто. Поэтому здесь необходимо небольшое отступление.

Старшие постоянно твердили нам, молодым, так что эта ходячая мудрость въелась нам в кровь и плоть: если хочешь сказать «что-то такое», говори только тогда, когда ты один на один со своим собеседником, если при этом присутствует третий — лучше молчи, ибо из вас троих один непременно окажется стукачом. Даже если он и не стукач, он может где-нибудь просто проговориться, и, будь уверен, его заставят сказать, кто и где говорил ЭТО, и тогда тебе конец. Если же разговор идет между двумя собеседниками, этот второй, будь он доносчик, никогда не сможет доказать, что ЭТО говорил ты — свидетелей-то нет.

Это не было удивительным, удивительным было другое — в той отравленной атмосфере, пропитанной недоверием среде рождались беспримерные образцы истинной дружбы, и собрания группы верных друзей были не таким уж редким явлением. Сколько раз я взрывался от негодования, когда кто-либо из моих хлебнувших лиха близких пытался внушить мне быть более осторожным, не доверять всем подряд, не дружить со столькими ребятами: вот и отец твой был таким же, говорили они, потому так и кончил. То, что я походил на отца, наполняло меня гордостью, но зерна недоверия по отношению к моим друзьям и знакомым, которые пытались бросить в мое сердце, приводили меня в бешенство. Кому из них не верить? — почти рыдал я в отчаянии, — назовите хотя бы одного, кто может предать меня? (Шел перечень имен). История с отцом — другое дело, то был тридцать седьмой год!

— С тех пор ничего не изменилось, — грустно возра-

жали мне повидавшие на своем веку родственники, — заговорщиков 41-го года выдал друг (тогда расстреляли Котэ Хим-шиашвили), в 43-м повторилось то же самое (тогда выслали Чабуа Амирэджиби), измена друга повлекла аресты и в 46-м (арестовали Татули Цулукидзе), доносчиков и предателей у нас не перечесть!

Но я и мои друзья стояли на своем, не стоило и жить, если не веришь в преданность друга.

И Отиа, безусловно, был того же мнения, более того, он верил в дружбу, наверное, больше нас, поскольку круг его знакомых и друзей был значительно шире. Он доверялся людям всем своим существом.

И члены литературного кружка тоже верили в дружбу и аккуратно собирались в неделю раз.

Но и органы имели свою твердую убежденность и принципы. Органы были уверены, если юнцы в составе трех или более человек начинают регулярно собираться, то это может поколебать устои советской власти. Поэтому, будь они даже ни в чем не повинны, для устрашения других их следует наказать самым суровым образом. Тем более, если объединение этих юнцов носит такое непонятное и сомнительное для органов название — «Колокольня Грузии» или «Грузинская колокольня». Тем более, что основным предметом их разговоров является проклятый идеализм («идаализм», как говаривал наш преподаватель диамата), способный подорвать основы советского государства.

Потом уже кто-то пустил слух, что органы, узнав о существовании литературного кружка (как и каким образом — никто не мог сказать наверняка), заслали провокатора, и этот провокатор придал чисто литературным спорам политическую направленность, желая выяснить, кто клюнет на эту удочку, а кто нет.

Сам Отиа, уже вернувшись из ссылки, ни разу в наших беседах не упомянул о провокаторе и вообще не касался этого вопроса. И мы, со своей стороны, заметив, что он не хочет говорить на эту тему, не приставали к нему с расспросами.

Но даже будь это правдой — слух о провокаторе, и прими этот литературный кружок действительно политическую направленность, какой мы должны себе представлять ее, эту политическую направленность? Что должны были предпринять эти действительно безусые юнцы, что могло составить серьезную угрозу государству; на страже его стоял дракон, из

страха перед которым ни птицы в небе не пролетали, ни муравьи по земле не ползали?

Но органам недосуг было задумываться над подобными нюансами. Осенью 1948 года все члены литературного кружка были арестованы и каждый из них обвинен в участии в особо опасном антисоветском заговоре. Доказать их вину не составило большого труда. И наказание было соответствующим — двадцать пять лет ссылки!

Так были отправлены в дальнюю дорогу Отиа и его друзья — Гиви Магулариа, Тенгиз Залдастанишвили, Алеко Меладзе, Жорес Цинцадзе, Шота Джиджадзе и другие (фамилии всех уже не помню). Если не ошибаюсь, десять человек.

Отиа Пачкориа было тогда двадцать лет. На улице Петриашвили в опустевшей трехкомнатной квартире остались убитые горем родители и маленький его архив — несколько рассказов в рукописях. Никто из нас эти рассказы не читал, за исключением, кажется, Тамаза Чхенкели. Мне он как-то сам прочел две-три миниатюры, но я почти ничего не помню, осталось лишь общее впечатление. Я умолял его: не воспринимая рассказы на слух, дай я сам прочитаю. Но он не дал. Как будто не хотел, чтобы их касались чужие руки, как будто боялся — посторонний глаз не сможет вникнуть в построение его фраз.

Речь там шла о какой-то пустыне, человеке и бесконечности (подразумевался, естественно, сам автор!). Угадывались, если не ошибаюсь, реминисценции из «Заратустры» и, может быть, «Змеиной рубашки». Фразы действительно были необычны: несколько артистичные, но энергичные, упругие, заряженные. Нетрудно было догадаться, автор подолгу упорно работал над каждой из них. Когда он вернулся (в 1956 году всех освободили), он о рассказах не заикался, а после его смерти не нашли их и в архиве. Наверное, он сам их уничтожил.

Человеку со стороны трудно понять, как он мог пожертвовать своими пусть незрелыми, но так заботливо лелеемыми произведениями ранней юности. Но тому, кто знал Отиа и его отношение к литературе, все понятно. Будучи эстетом с безукоризненным вкусом, он был истинным литератором, не терпящим компромиссов в сфере творчества. Тем более беспощадным был он к собственным произведениям. Потому и осталось после него такое скромное наследие, которое, впрочем, для истинного читателя может быть весомее многотомных сочинений иных авторов.

Предлагаемые ниже записки подтверждают сказанное.

Каждая фраза у него, каждое слово — плод долгих раздумий, медитаций (надо учесть и то, что это записи из записной книжки, которые автор не собирался публиковать). Для любого другого глубинное содержание этих записей послужило бы материалом для книги или, по крайней мере, статьи. Но Отиа никогда не походил на других...

## Из записной книжки Отиа Пачкориа

● В ночь перед погребением Гюго Париж предавался оргии. Париж хоронил божество и провожал его, как Диониса.

● Помню, когда хоронили Галактиона, процессия шла улицей Кирова. Я стоял на углу. Какая-то женщина пыталась пробиться сквозь толпу, чтобы подняться наверх, в Сололаки. Сделать это было почти невозможно. Тогда женщина в сердцах крикнула: — Толпа бездельников!

Впервые я стал свидетелем сдержанной, почти аристократической реакции «толпы». В ответ на этот выпад раздался смешок, снисходительный, ироничный... Может быть, потому, что был день народной скорби, и страна хоронила своего величайшего поэта. А может быть, потому, что истинная боль даже в самой «толпе» пробуждает высокий дух и выявляет национальные черты — в данном случае иронию и аристократическую невозмутимость. Я знаю, в тот день, в день похорон Галактиона мой народ был именно таким — скорбящим, гордым, терпимым и аристократичным. Я проводил взглядом зеленую шляпу, украшенную страусиными перьями, протискивавшуюся вверх, к улице Джапаридзе... Женщина отторгалась от народа, как несовместимый с ним, посторонний предмет. У гроба Галактиона на открытой машине стоял Нодар Чхеидзе. Мы тогда еще не были друзьями, но я хорошо помню его силуэт — четкий, скорбный, сосредоточенный...

И помню чувство праздничной приподнятости, невольное чувство, внутреннее ощущение проклятия колоколов... будто этот день действительно был днем перевоплощения языческого божества.

Я не поднялся на Мтацминда.

После прочтения монографии Рези Тварадзе, где приводятся дневниковые записи поэта и ясно видно, как трагична была судьба этого мученика и комедианта, мне невыносимо слушать патетические речи тех, кто способен поддерживать и сочувствовать только мертвым.

Беда Галактиона не в том, что он не смог найти страну, где не существовало страха, а в том, что он жил среди людей, большинство из которых были глухи и глупы.

● В отношении к современной литературе доминирующее положение заняли рассудительность, рациональность, причем в аналитическом отношении малоценные. Думаю, необходимо восстановить эмоциональную связь с литературой, эмоциональное, чувственное подчинение ей (что подразумевает соответствующий интеллектуальный контакт). Если мы с недоверием относимся к нашей литературе, то это не только потому, что мы стали более информированными и невольно сравниваем Иоселиани с Марксом или Элиозишвили с Льюисом (довольно проигрышные параллели). В конце концов мы же не сравниваем Илью с Толстым или Достоевским, поскольку знаем, это вызовет только смешение ценностей, отождествление всех и вся. Причина нашего неверия — провинциальный снобизм вновь прозревшего, растерянность технократа, определенное снижение способности переживать, притупление эмоций. И что главное, ослабление национальной гордости, если можно так выразиться.

● Феноменология и экзистенциализм близки к литературе тем, что, несмотря на различные отклонения, главным для них является существование конкретного человека, личный «экзистенс» человека. Основная цель искусства (литературы) — реализация человека (что не значит мысли о человеке. Это значит сам человек. Субъективное о субъекте). Поэтому понятно, что эти философские направления нашли прежде всего воплощение в литературе (отрицание понятийного мышления само по себе — литературная формула).

● Обычно от веры ожидают освобождения от двойственности и безысходности. Это не истинная вера. Верующий не застрахован от ошибки и греха. Человек всегда стоит перед альтернативой, перед выбором и решение принимает на свой страх и риск. Вместе с тем каждое решение — переход в качественно новое состояние, прыжок в неизведанное.

● Ощущение собственного физического нездоровья не должно стать сознательным актом, тогда возникает опасность совершения нездорового поступка... Достаточно раз пожалеть своего тела, чтобы потом все простить душе.

● Создание отрицательного характера в грузинской литературе всегда связано с одной принципиальной ошибкой — берется не характер в целом, а его отрицательная черта. Вернее, берется проблема «отрицательности», если можно так выразиться, и пишут на эту тему, показывая лишь одну сторону человеческого

характера. В результате получается сатирико-юмористическая схема. Действует не человек, скажем, злой человек, а его отрицательная черта, часть его. «Отрицательность» не может быть единичной чертой (в конце концов, писатель должен учесть существующие модели, скажем, образы Гобсека, Смердякова, Долохова... всех не перечислить. Ни один из них не является схемой или воплощением зла или отрицательных черт).

Одним словом, внимание акцентируется на вопросе об отрицательных чертах, а не на человеке. Когда мы создаем в нашем воображении модель отрицательного характера, мы же должны отдавать себе отчет, что с помощью только отрицательных элементов его просто не выстроишь, такая арматура не обрстет плотью. Просто наивно думать так.

● Я не хочу писать исследование по теории литературы. Это представляется мне зряшным трудом, потому что такие теоретические «изыскания» всегда являются калькой, перепевом того, что уже было сказано, механистической критикой. Не хочу заниматься и классификацией или поражать кого-либо теоретическими открытиями (в принципе мне до сих пор неясно, какое значение для духовной жизни народа имеет, скажем, «открытие» классицизма в Грузии XIX века. Допустим, обнаружили, что существовал классицизм, но ведь упустили сентиментализм. Скажем, нашли и его следы, а как на счет античной трагедии и т. д.).

Я хочу говорить о своих впечатлениях, пародируя самого себя, достичь того уровня иронии, который сегодня в Грузии считается выражением интеллектуализма.

● Грузинская проза так или иначе все же находится в фокусе мировой литературы и по своим мыслительным тенденциям, хотя бы художественным тенденциям, не представляет собой нечто изолированное и консервативное.

Думаю, мы все же должны помнить, грузин никогда не отличался особенной тягой к рационализму. Хотя бы потому, что в новые века у нас не было прямой непосредственной связи именно с этим рационализмом, «европеизмом», поэтому, столкнувшись с ним, мы оказались в некоторой растерянности и смотрели на него, вытаращив глаза и безвольно опустив руки.

● Хочу, чтоб молодые знали, проза — не только структура, проза — система. У прозы всегда есть схема. И в этом опасность... Существует схема толстовских романов и романов Достоевского, но существует общая система, общая для Толстого и Достоевского. Их систему объединяет глобальность, масштаб чувств — их величие (чего нет ни у Бунина, ни у Бабея, ни у

Куприна. Здесь мы имеем дело с иной системой, вернее с ее расчленением — что также логическая необходимость).

● Умер Эдишер Кипиани! Умер Тамаз Мелиава! Умер Арли Такаишвили!

От этих трех имен никуда не уйти. В этих трех именах столько характера, страстей, человеческих пороков и человеческого вдохновения, что сама мысль о них подавляет.

Я не знаю, что такое смерть, для меня они — отправившиеся в дальнюю дорогу путники, ничего больше (уход каждого из них носит отпечаток самоубийства, бессмысленной случайности, является подтверждением абсурдности нашего существования).

● Литература постепенно осваивает все гуманитарные науки и выступает уже от их имени. Ценность литературы научная и познавательная, мыслительная часть все более и более проступает на первый план. Литература имеет право говорить с людьми от имени универсального жанра (хотя бы науки), и это предъявляет новые требования к писателю. Она постепенно превращается в средство популяризации и научного познания мира.

● Я знаю, каждый нормальный человек приходит к вере в Бога не потому, что жаждет бессмертия или верит в существование некоего фантастического мира. Вера и Бог, прежде всего, приобщает к высшей нравственной культуре и предвещает нравственное очищение и утонченность.

● Первое впечатление после возвращения из ссылки: все предметы, вещи — на своих прежних местах... Словно я и не уезжал, словно ничего не изменилось. Есть в этой неизменности предметов злая мысль.

● Музыка — суждение о музыке, пересказ сюжета музыкального произведения оставляет ложное впечатление. Музыка скорее результат эмоций и интуитивного приближения к гармонии, нежели элемент категории разума. Она действует больше на эмоциональный настрой человека, чем прибавляет что-либо его познаниям. Человек, умеющий пересказать содержание музыкального произведения, оставляет впечатление беспредметно импровизирующего, музыка, наверное, не оказывает на него никакого влияния. Адажио, крещендо и пр. — это понятно, непонятен пересказ.

● Родина — абстракция до тех пор, пока ей ничто не грозит... Может быть, поэтому для малых народов родина — более конкретное понятие, конкретная боль, забота. Для больших народов родина — экспансия и выражение отвлеченной мощи... Для малых народов — жизнь и смерть, связанные непосредственно с каждой отдельной личностью. Патриотизм представителя



Большой нации — в насилии. Патриотизм же сына малого народа — в самоутверждении, способности выжить, в борьбе за сохранение своих личностных достоинств.

● Если говорить об истинном профессионализме, у Арчила Сулакаури, безусловно, есть ярко выраженные профессиональные достоинства. Эта профессиональность уживается в нем с талантом, органичным для всего его существа. Именно поэтому, даже те, кто не хочет признавать в нем писателя, тем не менее уважают его, ибо он один из тех немногих, кто оправдывает понятие писатель.

● Стиль мышления Арчила Сулакаури чисто литературный, т. е. он постоянно живет литературой. Именно это придает его личности значительность, это и еще то, что свои мысли он облакает в четкие логические конструкции. Он ничего не говорит просто так, ради того, чтобы что-то сказать... Придает фразе более глубокий смысл, чем это кажется на первый взгляд. Его суждения всегда авторитетны.

«Ты похожа на язычницу, каждой утренней зарей отправляющуюся к бомонд-у, но уже сомневающуюся во всемогуществе своего идола»... (Из стихотворения Галактиона. Ред.)

Возможно, «знание» поэзии должно начинаться с такого сомнения.

Эйхенбаум пишет — когда поколение поэтов в своей же среде рождает теоретика, это уже предвестник кризиса.

Поколение поэтов, которых называют «цискаровцами» и «шестидесятниками», появилось без теорий и теоретиков.

«Понимать» поэзию, наверное, — в высшей степени субъективное понятие и зависит от личных поэтических свойств читателя, от его интуиции, наконец. Это — ощущение эмоционального плена, к которому стремится сам читатель.

Поколение явно было лишено того, кто бы выслушал его искреннее слово. Оно нуждалось и в уважении и в отрицании, и в признании и в сомнении. Ведь его поэтическое существование часто протекало под знаком эфемерного успеха. Может быть, ему грозила и опасность перерождения в поэтическую корпорацию», отмеченную обыкновенным практицизмом:

«Сакральные» десять лет миновали.

Поколение создает чередование поколений. Кто-то должен уделить внимание поэзии. Но только не тот, кто болен обычным академизмом, кто равнодушен, у кого мозг, что соты, где в каждой ячейке покоится по научной истине.

Главный редактор Роман МИМИНОШВИЛИ

Редакционная коллегия:

Чабуа АМИРЭДЖИБИ, Элисбар АНАНИАШВИЛИ, Раваз АСАЕВ, Игорь БОГОМОЛОВ, Тенгиз БУАЧИДЗЕ, Хута ГА-ГУА, Камилла КОРИНТЭЛИ (ответственный секретарь), Лия СТУРУА, Георгий ЧАРКВИАНИ, Серги ЧИЛАЯ.

Технический редактор К. Котомкиа

Корректор Е. Сопромадзе

---

Сдано в набор 15.10.92 г. Подписано к печати 30.10.92 г. Формат бумаги 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага типографская № 1. Печать высокая. Печ. л. 7,0. Усл. печ. л. 11,97. Уч. изд. л. 14,0. Ти-раж 2 200. Заказ 1773. Цена 2 р

---

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

При перепечатке ссылка на «Литературную Грузию» обязательна.

---

При обнаружении полиграфического брака просим обращаться в типографию Издательства «Самшобло», по вопросам подписки и доставки журнала — в «Союзпечать».

---

Адрес редакции: 380008, Тбилиси, ул Костава, 5.

Телефоны: Главный редактор — 93-65-15, ответственный секретарь — 93-31-28, приемная — 99-06-59, отделы — 93-31-43, 93-65-19, 93-13-57.

---

Типография Издательства «Самшобло», Тбилиси, ул. Костава, 5.

672/8



2 რუბ.

ИНДЕКС 76117

ყოველთვიური ლიტერატურულ-მხატვრული და  
საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ჟურნალი

„ლიტერატურნაია გრუზია“  
(რუსულ ენაზე)

საქართველოს მწერალთა კავშირის ორგანო  
გამოდის 1957 წლის ივნისიდან



«Литературная Грузия» 1992, № 8, 1—224